

с
РАЗГОНОМ

о
РАЗГОНЕ





Портрет Л. Э. Разгона, 1978 г.
Художник Б. Жутовский

Светлой
памяти
Льва Эммануиловича
Разгона

АВТОР БЛАГОДАРИТ
ЗА УЧАСТИЕ
В ПОДГОТОВКЕ КНИГИ
К ИЗДАНИЮ

Светлану АКСЕНОВУ-ШТЕЙНГРУД

Алексея АНДРЕЕВА

Майю БУХ

Софию ВИШНЕВСКУЮ

Александра ГОРОДНИЦКОГО

Феликса ДЕКТОРА

Эдуарда ДУБОВА

Бориса ЖУТОВСКОГО

Марину КАРЛОВУ

Юлия КРЕЛИНА

Кирилла КОВАЛЬДЖИ

Леонида КУПЕРШМИДТА

Александра КИРНОСА

Лидию ЛИБЕДИНСКУЮ

Анатолия ПРИСТАВКИНА

Наталью РАЗГОН

Евгению ТАРАТУТА

Олега ФАЙНШТЕЙНА

РАДА
ПОЛИЩУК

С
РАЗГОНОМ
О
РАЗГОНЕ

БЕСЕДЫ
РАЗДУМЬЯ
ВОСПОМИНАНИЯ

Минск

2000

УДК 882.09 + 929 Разгон
ББК 83.3 (2 Рос-Рус) 6
П 50

Книжная серия
российско-израильского
литературного альманаха «ДИАЛОГ»

Перепечатка всех текстов только с разрешения автора

ИЗДАНО ПРИ СОДЕЙСТВИИ
ЕВРЕЙСКОГО АГЕНТСТВА В РОССИИ
И ДЖОЙНТА

Художник
Борис ЖУТОВСКИЙ

ISBN 985-436-277-9

© Полищук Рада, 2000
© Жутовский Борис,
художественное оформление, 2000
© ООО «МЕТ», 2000

ОТ АВТОРА

Десять лет назад судьба подарила мне дружбу с Львом Эммануиловичем Разгоном, несомненно, самую значительную дружбу в моей жизни. Но странное дело – я не помню, когда и как она началась. Помню – была читателем и почитателем его «Непридуманного» и даже не мечтала о знакомстве. А потом как-то вдруг – теплые, нежные, доверительные отношения.

Теплые, нежные и доверительные. Наверное, эта несомненная для меня доверительность позволила мне сделать эту книгу. Мы мечтали об этом вместе – собрать все наши беседы в одно целое. Да все как-то руки не доходили: то он болен, то мне некогда. Лев Эммануилович однажды сказал: «Без меня это у вас лучше получится, я не буду вам мешать. Да и какой из меня помощник...» Помню, я тогда очень рассердилась на него.

А так и вышло.

То есть нет – не так. Работая над книгой, я все время советовалась с ним, задавала ему вопросы и, казалось мне, слышала ответы. Закончив очередную главу, думала: «Это у нас получилось». А поставив последнюю точку, сказала: «Мы это сделали». И он улыбнулся довольной одобряющей улыбкой.

Мы это сделали. Книга наших с Львом Эммануиловичем бесед написана. В нее вошли беседы за последние 8 лет обо всем на свете – о жизни общества, о судьбе человека, о прошлом и будущем, о еврействе и еврейской культуре, об Израиле, путешествиях, о литературе, нравственности, о Москве, о городе детства – Горки в Белоруссии, о жестокости, милосердии и покаянии, о любви и о смерти. Короткие отклики по следам каких-то событий или предваряющие события, беседы конкретные, привязанные к какому-то времени, беседы-воспоминания, беседы-откровения и медленные, растянувшиеся на годы, беседы-размышления, сложившиеся в циклы.

Все, о чем осмелилась спросить, все, что он доверил мне.

Многое не спросила. Многого не успела сказать ему, лишь сейчас, запоздало, на страницах этой книги – вослед. И последние мои воспоминания, которые он никогда не прочитает, – тоже вослед. И короткие воспоминания друзей, вошедшие в главу «Звезда по имени Разгон».

Первые слова после прощания.



Москва, 1928 г.



Москва, 1937 г.
На Первомайской демонстрации

Ставрополь, август 1947 г.
Короткая передышка между сроками



Устьвымлаг, 1948 г.



1. Фам. РЯЗГОН
 2. Имя ЛЕВ
 3. Отец ЭММЯНЧИЛОВИЧ
 4. Год рожд. 1908 5. Место рожд. 26009
ГОРКИ. МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛ БССР
 6. Адрес 2. Ставрополь Ставропольск. кр.
 7. Проф. (смен.) Литературный работник
 8. Место работы, долж. Кавказ. Методический кабинет 2. Ставрополь. В долж. Методический
 9. Пар. Лп. 10. Нац. русск. 11. Гражд. СССР
 12. Арестован 17. 8 1950 г. 13. Характер преступления К-Р агитация
 14. Ст. ст. УК 58-10 27 15. Карточка заполнена Старший мл. инж. 2. Ставрополь
У. декемб. 1950 г.
Л. Андреев
 Фамилия составлена.

Орган Управлением
МВД Ставрополь
 Отдел его край
 № №
 Сл. _____
 Арх. _____
 Сл. _____
 Арх. _____
 Место _____
 Форм. 3037.
30
 указательный
 палец правой руки

Кем осужден Ставропольским краем. сейчас
 Когда 30 ноября 1950 г., ст. ст. УК 58-10 27 срок 10 лет мл. инж.
 Начало срока 17 августа 1950 г., конец срока 17/8-10 602.
Убыль 4/1-512. в переводную тюрьму в г. М.
г. Сергиевск, сог. распоряже. Убыль с 19.10.
за № 14/02-1845



Свежий этап. Три земляка-москвича. Усольлаг, 1953 г.



В Усольяге, 1953 г.

Соликамск, 6 июля 1955 г.
На второй день свободы



A black and white photograph of an elderly man with white hair, shown in profile from the chest up. He is looking slightly upwards and to the right, with his mouth open as if speaking. He is wearing a dark suit jacket over a light-colored collared shirt and a dark tie with a small, repeating pattern. His right hand is raised, with fingers spread, in a gesturing motion. In the foreground, on the left, is a large, dark, vintage-style microphone. On the right, a portion of another microphone is visible. The background is a dark, textured surface.

Москва, 1997 г.
Дом кино
На собрании
творческой
интеллигенции



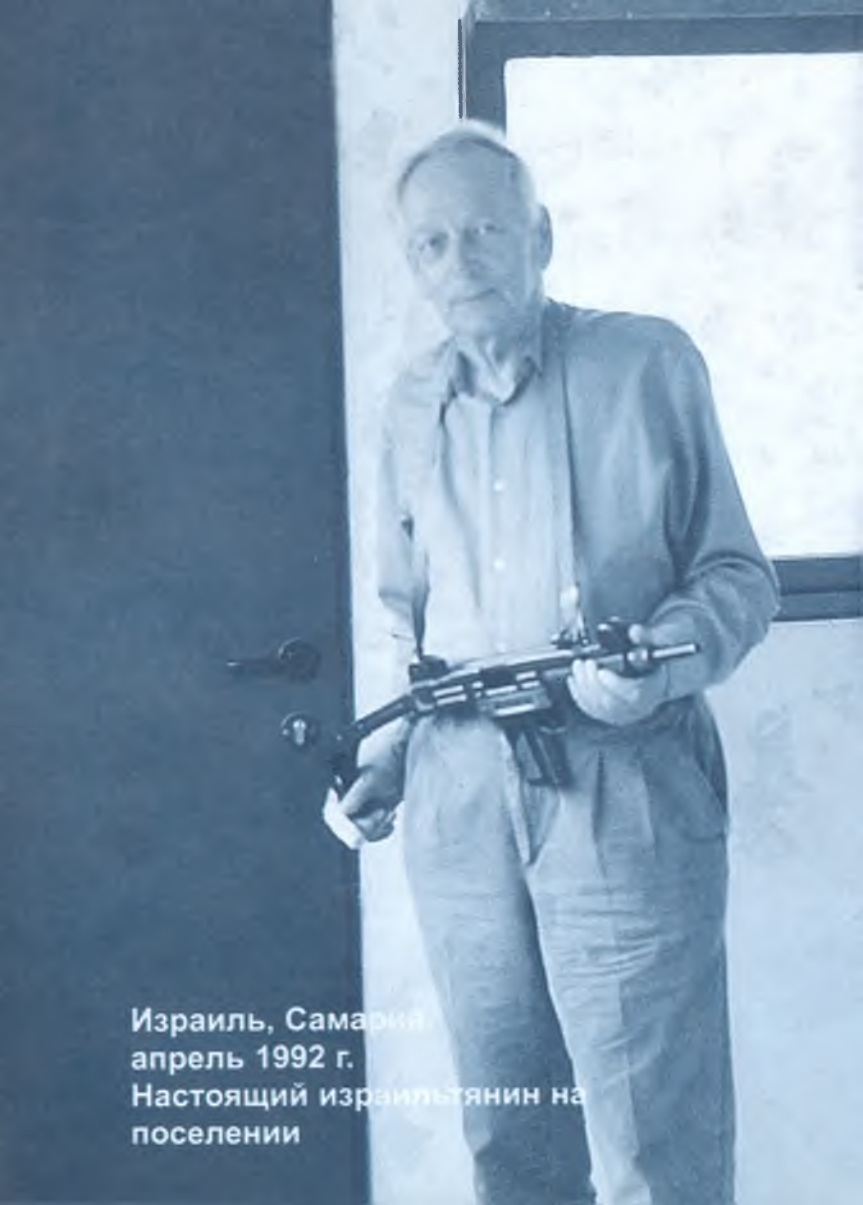
Англия, Кембридж, январь 1990 г.

Лондон, 1990 г. С женой
Ревеккой (Рикой) Ефремовной Берг





Париж, апрель 1991 г.
В гостях у Андрея Синявского



Израиль, Самария
апрель 1992 г.
Настоящий израильтянин на
поселении



Испания, Барселона, ноябрь 1992 г.
В обувном магазине

Париж, 1991 г. У витрины
книжного магазина "Глобус"



PH EDITIONS HORAY
22 bis Passage Dauphine
75006 Paris

La Littérature du Globe
vous invite le samedi 13 avril 1991 à 16 heures
pour rencontrer **Iev Margine**,
romain d'origine italienne, lauréat du prix Méditerranée, auteur de
romans (L'Édition Horay). Ce livre lui permet d'être
présenté à la fois comme un écrivain et comme un homme
d'affaires, maître dans son domaine.

et **Anatoly Pristavkin**,
auteur de romans (L'Édition Horay) et de nouvelles, auteur par la critique française
publiée par la collection "Les petits classiques".

avec une conférence et un débat avec le public

Littérature du globe
1991 - Édition Horay - Tél. 43 26 54 98

D'HIER A DEMAIN
écrit par **Genia Louguine**



Франция, Ницца, 1996 г.
С Юлией Добровольской



Переделкино, ноябрь 1993 г.
С Львом Копелевым

Переделкино, апрель 1993 г.
С Даниилом Даниным и
Ефимом Эткиндом

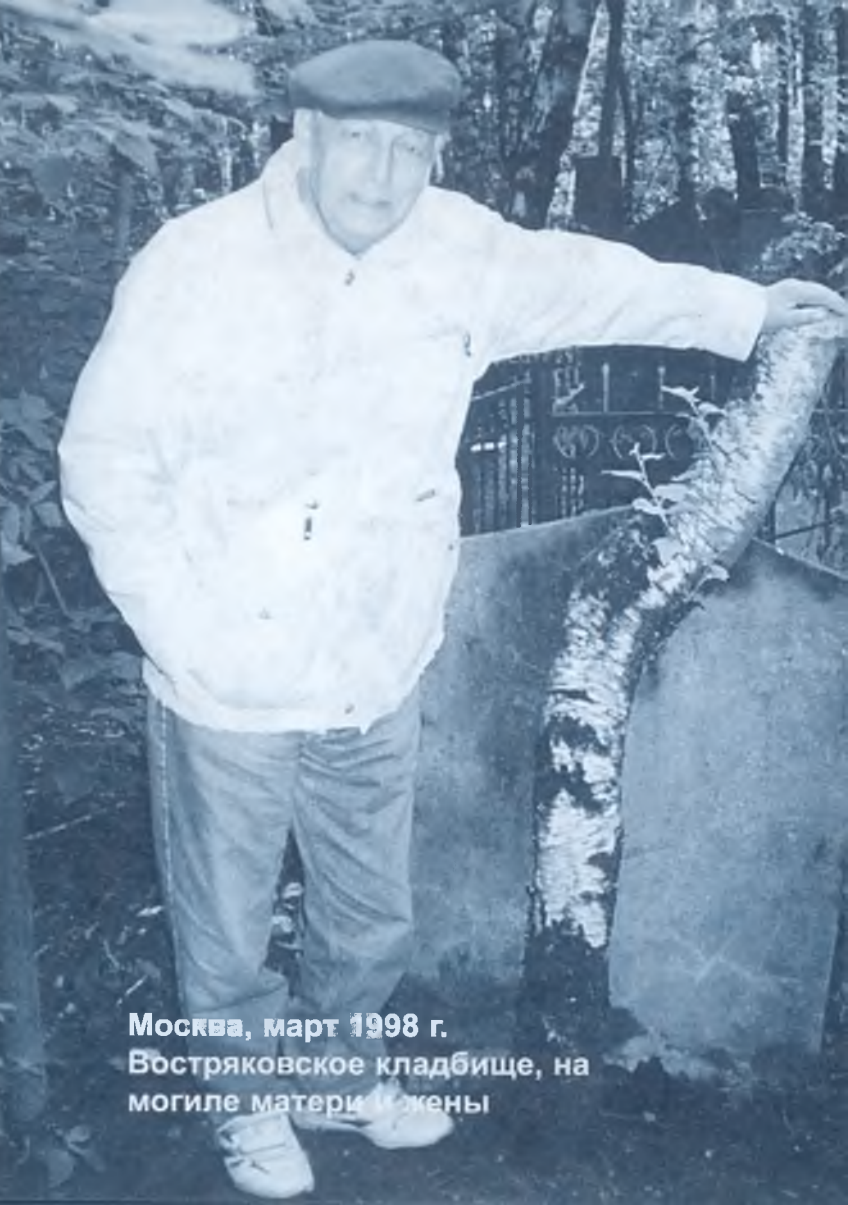




Москва, 1998 г.
На Малой Грузинской
с Радой Полищук

Переделкино, август 1998 г. В день
открытия музея Бупата Окуджавы.
Слева направо: Феликс Дектор, Лев
Разгон, Игорь Губерман, Рада Полищук





Москва, март 1998 г.
Востряковское кладбище, на
могиле матери и жены

СУМЕТЬ БЫ СОХРАНИТЬ

Пронзительный солнечный день раннего московского бабьего лета. Востряковское кладбище, рыжая глина над свежеврытой могилой, старые березы на самом краю, медленно падают первые желтые листья. Тихо, будто издалека, из маленького белорусского города Горки, скрипка напевает еврейские мелодии, полузабытые, полужнакомые, печальные.

Лев Эммануилович слышит их, он их узнает, эти песни пела ему мама. Быть может, потому лицо его спокойно, кажется даже, что он улыбается. Нам? Себе? Им? – маме и Рике, возлюбленной, другу, жене. Он пришел к ним навсегда. И место такое Разгоново – узкая щель между оградой соседних могил. Тесновато для большого деревянного гроба, как всегда казались немного ему не по размеру его малюсенький кабинет и вся двухкомнатная малогабаритная квартира на Малой Грузинской.

В такой квартире не сделаешь музей. На такой могиле не поставишь монумент. А ему это и не нужно. Он никогда не мнил себя героем, праведником, оракулом. Он не был чужд сомнений, не закоснел в ощущении собственной непогрешимости и навеки оплаченной тяжелым прошлым категорической правоты. И звездной болезнью никогда не болел.

Меж тем звезда у него была и, наверное, есть. Не золотая – на груди, а настоящая, живая – высоко в небе, звезда, которую можно обозначить точкой или крестиком на карте звездного неба, та, что светит нам с небосклона сквозь тучи. Звезда в созвездии Овена, его именем нареченная в год его 90-летия.

Мог ли когда-нибудь мечтать об этом маленький еврейский мальчик, любознательный и пытли-

вый читатель и мечтатель? Его реальный мир был ограничен «чертой оседлости», но безграничной оказалась вселенная, окно в которую открывали книги. Он пас свою любимицу, кормилицу семьи, комолую корову Бирку, и лежа на траве, вглядывался в предутреннее небо, на котором догорали последние звезды. И предположить не мог, что когда-нибудь у него будет своя звезда. Она теперь есть навсегда. А Льва Эммануиловича нет.

Не знаю, просил ли он легкой смерти. Вряд ли, он не верил в Бога. И хотел жить, почти до самого конца.

Он хотел домой. Наверное, казалось, что родные стены защитят, укроют, помогут. Он рвался домой. И врачи после консилиума, где все сошлись на одном – состояние средней тяжести и лучше уже не будет, отпустили его. Теперь мы знаем, что Льву Эммануиловичу оставалось жить совсем недолго, он ушел из жизни 7 сентября 1999 года.

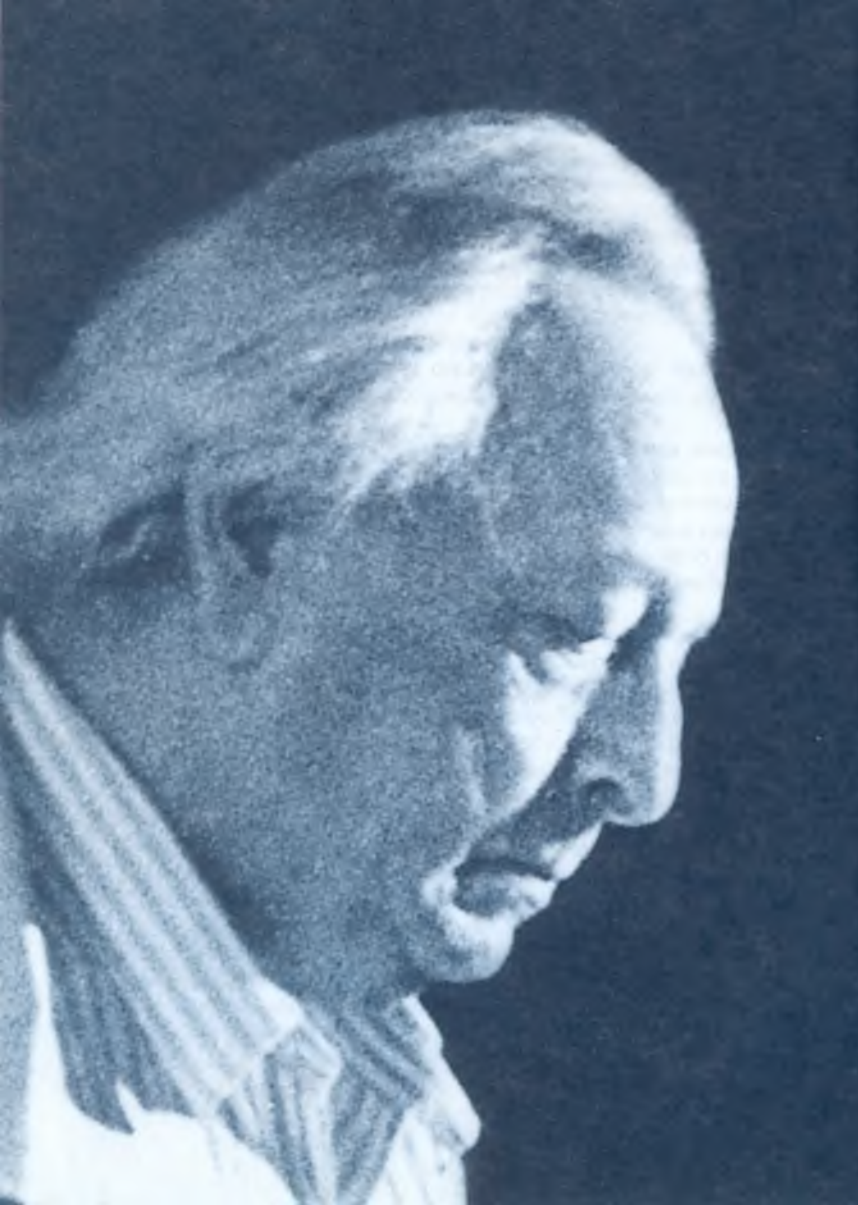
Последние десять лет мы были нежно дружны с Львом Эммануиловичем, нас связывали теплые, доверительные отношения. Как не хватает мне, как будет не хватать наших почти ежедневных телефонных разговоров, наших частых встреч на Малой Грузинской, когда сидели рядом в креслах у окна и подолгу, неспешно, говорили обо всем на свете – о прошлом, о будущем, о любви, о доме, о литературе, о жизни во всех ее проявлениях.

Еще он недалеко ушел, еще я слышу тихий неторопливый голос Разгона и вижу его самого – доброе, спокойное лицо, просветленное какой-то высшей мудростью, которую ему удалось постичь, которой он был готов щедро поделиться со всеми.

Суметь бы воспринять – думала я, когда он был с нами. Суметь бы сохранить – думаю теперь, работая над этой книгой.

ГЛАВА 1

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА



Лев Разгон прошагал этот век сокрушительных перемен, ломавший жизни и судьбы миллионов, почти от начала до конца, не дожив всего четыре месяца до рубежа эпох. Ему довелось пройти весь крестный путь, выпавший на долю гражданина Страны Советов, – семнадцать лет скитаний по островам ГУЛАГа, тюрьмы, пересылки, лагеря, короткая передышка и новый арест. Семнадцать долгих лет! С 1938 по 1955 год. С тридцати лет до сорока семи.

Но сломить его не удалось.

Он прожил 91 год 5 месяцев и 6 дней. Долгий путь, долгая трудная жизнь счастливого человека, который умел любить – женщину, дочь свою единственную, родичей, родину, книги, друзей, путешествия. Он был закодирован природой на счастье, и этот божественный дар ему удалось сохранить вопреки всему. Иначе, пережив все, что довелось, вряд ли сумел бы он сказать: «Все хорошее, что я испытал и прожил и прочувствовал, связано с этим временем и с этой страной. Здесь я был долго и по-настоящему счастлив – и в любви, и в дружбе, и в профессии. На эту любовь покушались, ее пытались отнять у меня, уничтожить. Не получилось».

Не получилось.

Лев Разгон родился 1 апреля 1908 года, но с приснопамятного 53-го празднует день своего рождения 5 марта. Причем первый раз – в Усольяге, в компании очумевших от радости сотоварищей-зеков после того, как лагерный «консилиум» из врачей заключенных, ознакомившись с газетными бюллетенями о состоянии здоровья отца народов, категорично постановил – сдохнет. Чуть более откровенное слово прозвучало, но суть была в главном –

близок конец. Бутылку водки, по словам очевидца и участника тех событий Разгона, в режимном лагере можно было приобрести за 200 рублей и 10 банок тушенки. Сколько тогда было выпито, не знаю, но после он с гордостью говорил, что не пропустил ни одного 5 марта, до самого конца, пить начинал чуть ли не с самого утра и целый день в приподнятом настроении принимал поздравления, как настоящий именинник.

Лев Разгон пережил Сталина на сорок шесть лет! Справедливость все-таки существует – хочется воскликнуть даже сейчас, когда его нет. Существует. Ведь он не просто пережил своих врагов – он победил их. Силой духа и своей ненадуманной правдой. Не озлобился, не возненавидел все человечество за собственные страдания, за гибель близких ему людей. «Нет, не простил я никого из палачей, – говорил он. – И не прощу никогда. Но не хочу никому мстить. И родину свою люблю, мой дом здесь, от рождения и навсегда».

Воистину это слова праведника и победителя.

Не плакатного идола, не номенклатурного героя, увенчанного всевозможными лаврами, одаренного привилегиями, обласканного властью предержащими. Ничего этого у Льва Эммануиловича не было. Он жил в маленькой двухкомнатной квартире, где перегруженные нефабричные книжные полки угрожающе накренились, того и гляди рухнут, – да ведь когда-то и камеру или лагерный барак считал он домом, и может быть, это помогло выжить. Он писал все свое «непридуманное» на старенькой пишущей машинке, – что за беда, писал же когда-то повесть о жизни самодельными чернилами в конторской тетради по ночам в холодной лагерной каптерке.

И был счастлив.

Он не был привередлив ни в чем, даже больничная еда ему нравилась – едал и похуже. Ни дачи, ни машины, никаких предметов роскоши. Не нарочитое, не напоказ выставленное панибратство с народом – Разгон без

колебания мог бы подписаться под ахматовским: «...Я всегда была с моим народом, // Там, где мой народ, к несчастью, был».

Впрочем, он не любил деклараций и громких слов, не признавал дидактики и нравочений.

К несчастью – был...

Не просто был, а прожил, пережил – шесть тысяч двести двадцать дней в неволе. «Плен в своем отечестве» – так назвал Лев Разгон одну из своих книг. Точнее не скажешь. Страшнее не может быть.

Казалось, естественным было бы желание похоронить гулаговское прошлое, не возвращаться туда, забыть. Начать жизнь с начала, с чистого листа. И воспевать эту жизнь, устремив взор в будущее.

В будущее через прошлое – гораздо труднее.

Но бывшему зеку Разгону достало мужества до последнего дня писать о том, что было. И ознакомиться в архивах КГБ с делами близких ему людей тоже хватило сил. «Никогда не забуду шока, испытанного мною, когда я в страшно известном доме на Лубянской площади знакомился с делами всей своей семьи. Потрясение было вызвано не тем, что я узнал. Я это знал уже и раньше. Я рассматривал дела шестерых людей, из которых трое были расстреляны, а остальные попали в мясорубку, которая вошла во все словари мира под названием ГУЛАГ. Погибли не все, остался в живых я, и мне судьбой приуготовлена обязанность рассказать то, что я знаю».

«Еще мне не пора...» – говорил он в 87 и в 89, и в 90 лет и свято выполнял эту свою обязанность.

«Непридуманное», «Плен в своем отечестве», «Позавчера и сегодня» и «Аллея праведников», ненаписанная книга, – это все о тех, кого любил и потерял, о тех, кто оказывался рядом в трудные моменты, о тех, кого запомнил навсегда.

И память о них передал нам.

Беседа
**«ПОКОЙНИКУ
МИЛОСЕРДИЕ
НИ К ЧЕМУ»**, 1996 г.

Вы родились за 9 лет до октябрьской революции 1917 года, уже несколько лет проживаете в постсоветском периоде. Но все же 74 года вы были «винтиком» в той машине, что звалась Страной Советов, вы были с ней от первого ее крика до последнего вздоха. Вы помните, что было «до», видите, что происходит «после», были не только свидетелем, но и участником, вольным или невольным, того, что было «при». Что вы можете сказать сегодня, имея такую ретроспективу?

У меня такое ощущение, что я прожил несколько совершенно разных жизней. Но ни в одной из них я не был «винтиком». Это Сталин считал меня «винтиком», я-то считал себя – и так было на самом деле – активным творцом социалистической системы, я по мере своих сил способствовал ее развитию и верил, что именно эта система приведет нас к светлому будущему, к всеобщему равенству. Это была тяжелая интеллектуальная работа, я бы сказал – по призванию. Кроме того, отдельный «винтик» ведь не отвечает за работу всей машины. Я же чувствую всю меру своей ответственности за то, что происходило в моей стране. Более того, я даже не считаю, что расплатился за свою причастность к этому семнадцатью годами лагерей. Нет. Я и сейчас несу бремя этой ответственности и перед обществом, и, прежде всего, – перед самим собой.

То есть вы считаете, что должны были расплатиться такой страшной ценой за свое соучастие в созидании той системы, которая вас же за это и наказала? Это какой-то жуткий парадокс.

Нет, я не считаю это расплатой. Истинной расплатой может стать только осознание того, что мы сделали и что мы все повинны – одни больше, другие меньше – во всем, что с нами произошло. С нами со всеми – и с теми, кто сидел, и с теми, кто сажал, и с теми, кого обе сии чаши миновали. Болело все общество, здоровых почти не было, это были редкие исключения – люди, сумевшие уже тогда постичь подлинный, чудовищный смысл всего происходящего.

Если бы вы сегодня, вы – сегодняшний,отягощенный или, может быть, обогащенный печальным опытом пережитого, переосмысленного, обретенным заново видением прошлого, – если бы вы начинали жизнь сначала, что бы вы изменили в ней?

Прежде всего – самого себя. Мне кажется, что к концу жизни я не то что стал умнее – это, наверное, невозможно, я стал лучше понимать жизнь вообще, лучше узнал людей, мир, самого себя. Я стал нравственнее, наконец. Можно ли извлечь какие-то уроки из прожитой жизни? Думаю, что можно. И если бы я такой, какой есть сейчас, начинал жить заново, может, мне удалось бы избежать каких-то ошибок, совершенных по недомыслию, по наивности, от излишней горячности. Кто знает – может быть...

К сожалению, никому не дано переделать то, что прожили, и не помочь уже тому, кому не помог, и не спасти того, кого не спас, и не простить того, кого не простил.

Да, никому не дано знать, что было бы... И никому не дано сегодня исправить то, что было вчера. Это уже уроки для будущих поколений, если они захотят им следовать.

Исправить вообще можно только самого себя. Общество может исправиться только в том случае, если каждый будет исправлять сам себя. Не дай бог, чтобы мы снова заня-

лись насильственным перевоспитанием друг друга. Результаты такой профилактики хорошо известны.

История страны жестоко отозвалась на судьбе вашей семьи, ваших родственников, на вашей судьбе – 17 лет лагерей и ссылок, повторных арестов, утрата близких, угасшие иллюзии и вновь вспыхнувшая надежда. Что дает человеку силы пережить все это, не сломаться, не озлобиться?

Что дает силы? Только стремление сохранить свое человеческое достоинство, сохранить себя как личность. У человека можно отнять все – любимое дело, дом, близких ему людей, даже его собственную жизнь. Нельзя отнять только одно – его человеческое «я», его отношение к тому, что происходит вокруг. То есть, перефразируя Сенеку: если этого нельзя избежать, нужно уметь это презирать.

Да, я не мог помочь ни себе, ни моим близким, ни тем, кто волею судьбы оказался рядом со мной в тех нечеловеческих условиях, – но я должен был при этом сохранить в себе главное. Это, кстати, очень точно сформулировал Александр Исаевич Солженицын в «Одном дне Ивана Денисовича», как основное правило зека: «Не бояться работы, не копать в объедках и не бегать в «хитрый домик» (то есть – не стучать «куму»).

Ох как непросто соблюсти это такое простое на первый взгляд правило. Но в нем действительно залог выживания.

А может быть – всё воля случая: один выжил и рассуждает, а другой погиб и ничего возразить не может?

Ну, разумеется, ни я, никто другой не может точно ответить на вопрос – почему он выжил. Теперь можно пытаться лишь осмыслить то, что было, и делать какие-то выводы.

Но, конечно же, это ни в коем случае не означает, что тот, кто умер, погиб, не выдержал этого кошмара, в чем-то был ху-

же меня, слабее, безнравственнее. Слишком много случайно было в жизни зека, чего нельзя было предусмотреть, – куда попал, кто оказался на соседних нарах, состояние здоровья, физического, психического, умение налаживать быстро рвущиеся связи, способность адаптироваться к условиям тяжелым, порою невыносимым, да к тому же непостоянным.

Нет, в конечном счете, эту дилемму – жизнь или смерть – решал случай.

Сейчас, когда агрессивность аккумулируется как сгусток энергии, черной тучей витает над скопищем людей и прорывается то здесь, то там бессмысленными войнами, кровопролитными разборками, насилием, драками, бранью – как удастся вам сохранить доброжелательность и спокойствие?

Это свойства моего характера, я всегда был терпимым, доброжелательным и спокойным – и в детстве, и в юности, и в зрелые годы, когда сохранить себя мне было гораздо труднее, и сейчас, в старости, – тем более. Старость должна быть терпимой и по возможности мудрой. Однако меня часто обвиняют в необоснованном, чрезмерном оптимизме. Вот, мол, и дореволюционное детство в «черте оседлости», и долгие годы скитаний по тюрьмам и лагерям за спиной, и все мыслимые и немыслимые испытания, выпавшие на долю подданного великой империи в уходящем XX веке, а он терпелив, доброжелателен и спокоен. И верит в счастливое будущее.

Это так. В этом смысле я человек глубоко верующий. И в лагере стремился сохранить те нравственные установки, которые считал необходимыми для себя на воле. Иначе не выжить. И должен признаться, что в лагере иногда мне это удавалось легче, чем на воле.

Однако моя терпимость вовсе не знак того, что я смотрю на жизнь сквозь розовые очки или забыл свое прошлое и прошлое моей страны. Нет, не забыл. И несущий все бремя

своей ответственности перед людьми, перед страной, перед самим собой. Это очень нелегкий груз.

И все-таки, казалось бы, гораздо естественнее было бы вам или человеку такой судьбы, как ваша, озлобиться, возненавидеть все то, что было, своих палачей, а заодно и весь этот мир сегодняшний – страшный, жуткий, отвратительный. Жить в ненависти трудно и вместе с тем удобно – ты жертва, все перед тобой виноваты, ты испил свою чашу до дна, а они пусть себе сами разбираются в своих проблемах. Разве не так?

Нет, для меня это неприемлемо. Есть люди, которые без всяких серьезных оснований ненавидят весь мир, ни в чем перед ними не повинный. Такие люди живут по принципу – не то хорошо, что мне хорошо, а то, что другому плохо. А в продолжение этой логики: если уж мне плохо, то пусть весь мир сгорит.

Нет, я не хочу никому мстить за то, что выпало на мою долю и на долю моих близких. Полвека назад – да, я был готов, я хотел убить тех, кто убил Оксану, мою первую жену, всех тех, от чьих рук пострадали и погибли мои родственники. А сейчас мне безразлично, что кое-кто из тех палачей и мучителей, возможно, еще жив и здравствует, и пользуется какими-то льготами или влачит жалкое существование, никому не нужный, всеми забытый. Мне это безразлично. И не испытал я никакого удовлетворения, когда, читая дела в архивах КГБ, узнал, что один из них был замучен и расстрелян своими же друзьями-чекистами.

Нет, не простил я никого из них и не прощу никогда. Но месть меня не насыщает, не радует, не нужна мне она. Меня тошнит от отвращения, когда я вижу по телевизору трупы людей, убитых из мести, злобы, зависти, – всего, что сопутствует якобы «самоопределению народов», «росту национального самосознания», борьбе за свободу.

С тоской думаю: неужели, чтобы утратить жажду мщения, выработать в себе отвращение к убийству, надобно стать – подобно мне – стариком, прошедшим долгий и трудный путь, выпавший на долю человека нашей вероломной эпохи. Неужели это так? Мне грустно об этом думать, и я верю, что новому поколению не понадобится такой страшный опыт, какой приобрели за свою жизнь мои сверстники, что они другим путем придут к осмыслению и осознанию нравственных и гуманитарных ценностей – без войн, злодеяний и убийств.

Вы – член Комиссии по помилованию при Президенте РФ и убежденный противник смертной казни. Как и когда сложилась эта позиция – в лагерях, после? Как реакция от противного на причиненное вам зло или же это с детства усвоенный постулат ненасилия?

Насилие мне и в самом деле было отвратительно с детства. Конечно, мальчишкой я участвовал в драках и побоищах, правда, без всякого, должен сознаться, удовольствия, я больше любил читать, мечтать, путешествовать по открывшимся мне мирам. Но все же решающее значение в формировании моих убеждений о безнравственности смертной казни сыграли годы сталинского террора, годы, проведенные в лагере. У меня на глазах столько людей умерло насильственной смертью, а в тех условиях всякая смерть была насильственной – от болезни, от холода, от недоедания и непосильной работы, от зверств палачей, столько людей были невинно расстреляны, замучены, забиты. Волею злого рока столько загублено жизнью! Это неискупимо и невозполнимо.

Конечно, реабилитировать – не значит воскресить. И никаким покаянием не вернуть человеческую жизнь. И милосердие покойнику ни к чему.

Да. И именно поэтому во избежание всегда возможной

судебной ошибки я – категорический противник смертной казни в любом случае, без исключений. Я абсолютно убежден – после страшного урока сталинского геноцида нельзя давать нашему государству право казнить. Мы знаем, как оно может этим воспользоваться. Мы еще, к сожалению, недалеко ушли от тех лет – в психологии, в нравственном отношении, в осознании ответственности и главное – ценности человеческой жизни.

Да к тому же эта моя позиция, помимо всего прочего, зиждется на элементарных нравственных нормах, присущих нормальному цивилизованному обществу.

То есть – человек никогда не имеет права убивать человека, даже если человек человека убивает?

Несомненно так. Я вовсе не такой благодушный человек, бывают, конечно, случаи, когда кажется – сам убил бы на месте. Мне думается, что, если бы у меня на глазах убивали или насильничали ребенка, я был бы способен убить насильника. Но это одно дело. И совсем другое, – когда государство убивает человека, который уже обезврежен и беззащитен, пусть даже это преступник, чья вина доказана.

Но ведь он обезврежен и беззащитен в какой-то конкретный момент. А убежит или амнистируют?

Существует презумпция невиновности. И никаких гипотетических ситуаций быть не может. А если не убежит, если не амнистируют?

Мы должны понять главное – в самой смертной казни заложено безнравственное начало – это преднамеренное убийство человека, который не может оказать сопротивление.

Меня возмущает и огорчает, что наши милиционеры гибнут от рук вооруженных бандитов (таких случаев все больше и больше), почему-то всякий раз не успевая первыми

применить оружие, в отличие от ловких американских полицейских, каких мы видим в боевиках. Но это другое дело, другой разговор. Я бы, честное слово, хотел, чтобы они перестреляли всех бандитов. Но это ведь борьба с вооруженным противником, который оказывает сопротивление.

Совсем другое дело – смертная казнь. Это нужно понимать.

И зачем – смертная казнь? Поверьте мне, есть более суровое наказание – лишение свободы, ибо нет у человека ничего более дорогого и ценного, чем свобода. Даже если человек это не осознает.

Хорошо. Мы с вами говорим о том, что свобода дороже колбасы. Но ведь это должен осознать каждый. Не только тот, кто эту свободу терял, или тот, кто способен понять это на чужом опыте, но и каждый. Что нужно для этого? Чтобы умер последний, рожденный в рабстве? Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что каждый член нашего общества свободу с колбасой не соизмеряет, большинству материальное понятней, ближе, доступнее. Что может это изменить, чтобы мы все поняли – свобода дороже и это стало бы отправной точкой?

Годы. Время. Вот в чем дело. 40, 10, 20 или 100 лет – никто не знает. Разве только наша страна проходит через такой трудный период, разве только российская империя рухнула? Нет. В свое время рухнули все великие империи. Если взять те самые цивилизованные страны с высокой культурой и уровнем жизни, которым мы завидуем и то и дело поминаем всуе, если перелистать их историю, мы увидим – через какие страшные этапы они прошли. Что делал Лютер с католиками? А Кальвин? А католики с гугенотами? И через что прошла Англия – через Кромвеля, через протекторат, через казни? А сколько жертв принесла Великая Французская революция? Какие жестокие, кровавые времена они пережили.

Чтобы все постепенно изменилось, переустроилось, чтобы выросло новое поколение, нужно время. Я не делаю никакого открытия, это неопровержимо, как сама жизнь.

Милосердие и милость, помилование – понятия одного рода? И что вообще значит – помиловать преступника, нравственно ли это?

Безусловно. Всякое проявление милосердия высоко-нравственно. Особенно по отношению к преступнику, который раскаялся. Ведь наша Комиссия рассматривает заявления только тех преступников, которые отбыли уже большую часть своего срока, которые раскаиваются в содеянном и подтверждают это своим поведением. Мы, члены комиссии, часто содрогаемся, рассматривая дела тех, кто обратился с просьбой о помиловании, – так невообразимо ужасны совершенные преступления. Но человек уже отсидел 10–15, а то и 20 лет, он изменился за это время, это неизбежно. Кроме того, зная условия содержания в наших лагерях, могу с уверенностью утверждать, что 10-15 лет – это практически максимальный срок, который может выдержать человек.

Вы хотите сказать, что не бывает неисправимых преступников?

Бывают, несомненно бывают. Попадали к нам в комиссию дела людей, отсидевших 25–30 лет, имевших за это время 3–4 «ходки» и больше, но вдруг обратившихся с просьбой о помиловании. Только представьте себе – человек прожил свою жизнь ужасно: в тюрьме он вырос и состарился, больше ничего в его жизни не было. Надо дать ему умереть на воле. В большинстве случаев мы решаем именно так. Это есть акт милосердия.

Если это не секрет – пожалуйста, немного подробнее о Комиссии: ее состав, статистика, сколько дел рассмот-

рено, каков общий результат, хотя здесь, наверное, проценты неуместны?

Официальная Комиссия по помилованию существовала в России всегда и в бывшем СССР тоже, в нее тогда входили высокие чиновники из МВД, Генеральной прокуратуры и других правоохранительных органов, в ней участвовали и министр юстиции, и члены Президиума Верховного Совета, а возглавлял Комиссию – Председатель Президиума Верховного Совета. То есть фактически, – кто выносил приговор, тот же (те же) его и утверждал. Разумеется, работала такая Комиссия чисто формально, собирались редко, решения принимались без обсуждений и сомнений в соответствии с некой средней цифрой помилований в год, скажем, не более 5. Так решались человеческие судьбы. Собственно, у этой Комиссии не было никакой миссии – все определялось, как и во всем, жесткими идеологическими установками.

Изменить такое положение вещей оказалось возможным только после августа 1991 года. Инициатором выступил Сергей Адамович Ковалев, это он обратился к Ельцину с инициативой о создании принципиально новой Комиссии. Так появилась первая в России общественная Комиссия по помилованию, главная задача которой была определена ее участниками однозначно – помилование. Беспрецедентно и то, что во главе этой Комиссии вместо Председателя Президиума Верховного Совета стал известный писатель Анатолий Приставкин. Трудное это было решение и для него, и для тех его друзей, которым он предложил стать членами Комиссии, – Булат Окуджава, Фазиль Искандер, Мариэтта Чудакова, Алесь Адамович, я.

Комиссия существует почти четыре года. В нее, кроме известных писателей и журналистов, входят крупные авторитетные юристы, врачи, психологи, социологи, есть священник. Это люди с разными взглядами и убеждениями, объединенные тем, что согласились работать в комиссии по помилованию. То есть всем им дорого и важно милосер-

дие истинное, а не декларативное. Кроме того, все они согласились работать на общественных началах, а это тяжкий труд, который отнимает много времени и сил. Мы собираемся один раз в неделю, за это время приходится прочитать более ста дел, порою ночью невозможно уснуть – так чудовищно страшны материалы, которые мы прочитываем.

Комиссия консультативная, права помилования у нее нет. Такое право есть только у президента, это он решает – помиловать, казнить или сохранить жизнь. Он может соглашаться с решением Комиссии или не соглашаться – это тоже его право. То, что он в подавляющем числе случаев с нами соглашается, а среди принятых нами решений преобладают решения о помиловании, – определяет и нравственный уровень Комиссии, и нравственный уровень президента.

Нравственный уровень Комиссии безусловно определяется и именами людей, вошедших в ее состав, можно сказать, что они стали гарантом ее неподкупности. Разные истории рассказывали в советские времена о председателях аналогичных Комиссий в республиках бывшего СССР, которые на взятках становились миллионерами в те времена. Но я абсолютно убежден – никому даже не придет в голову, что Анатолий Приставкин, Булат Окуджава или Фазиль Искандер берут взятки.

И зеки это знают. Они вообще знают о нас все, и это несколько не удивительно, ведь от нас, по сути, зависит их жизнь. Это, кстати, видно и по письмам, которые они пишут нам, членам Комиссии, персонально.

Недавно Россию приняли в Совет Европы, и одно из главных обязательств, которые наше государство приняло на себя в связи с этим, – отмена смертной казни, вначале – мораторий, потом – окончательная отмена. Сбывается ваша мечта?

Да, я мечтаю о том, чтобы Россия сознательно стала государством, которое не убивает, а для этого нужно, чтобы к

такому решению пришел каждый член нашего общества. Ведь государство – это мы, это мы расстреливаем, в том числе и невиновных. Если государство казнило невиновного человека, а им может стать каждый – вы, я, президент – это наше общее несчастье, общая наша вина. Даже один невинно казненный.

Мы все должны понять главное: смертная казнь – это одна из самых больных и противоречивых проблем человечества. Ведь если есть безвинные жертвы преступлений, то есть и их близкие, их родные, которые хотят, требуют отщения. У них своя правда, продиктованная горем утраты. Но месть порождает месть, это неизбежно, и, поддавшись этому, общество проваливается в страшную пропасть, выбраться из которой очень трудно. Смертная казнь – одно из звеньев цепи отщения, это тоже акт возмездия – возмездия общества человеку. А если он невиновен?

Хочу, чтобы каждый подумал об этом.

Требуя смертной казни за убийство, сограждане наши не знают из-за отсутствия информации, что главная беда нашего общества заключается в том, что огромное множество общих уголовных дел – это дела об убийстве. Россия буквально погрязла в убийствах!

Вы имеете в виду заказные убийства и всевозможные мафиозные разборки?

Нет, в том-то и дело что нет. Ни одно из подобных дел, о которых вы говорите, не прошло через нашу Комиссию, а это означает, что ни одно из них просто-напросто не дошло до суда. Я имею в виду даже не так называемых серийных убийц-маньяков, тоже громкие дела, я имею в виду преступления, которые совершаются в народе, в быту, по пьянке, алкоголиками, деградировавшими или психически неполноценными личностями. Почти все общие уголовные дела начинаются одинаково: «сидели и пили...». А затем!.. Пьяный сын топором убивает мать, женщина

душит своего мужа, мать наносит множество ножевых ранений сыну... Одно преступление страшнее другого, изуверские, изощренные, бессмысленные.

Вот почему я призываю каждого подумать. Есть общая тенденция, которая важна и для государства, и для каждого из нас – научиться милосердию и обрести нравственные постулаты. «Не убий» – это не формула, не красивые слова, это нравственная основа. Это должен осознать каждый. Смертная казнь здесь ничего не решит, ничего не исправит.

Отмена смертной казни – вопрос полемический, в нашем обществе, да и не только в нашем, и средства массовой информации, и общественное мнение, и заинтересованные государственные структуры относятся к этому по-разному. Влияет этот разброд мнений на работу Комиссии?

Да, разумеется, на нас оказывают давление со всех сторон, впрочем, на президента это давление еще сильнее – тут вступают и силовые структуры, и другие аппаратные силы. Печать, общественность, письма – все, главным образом, работает против нас. И Прокуратура, и МВД работают в одном направлении: им положено карать, осуждать, казнить – они это исправно выполняют.

Но кто-то же в обществе должен противостоять этой глобальной жестокости. Наша Комиссия добровольно взяла на себя эту миссию, и критерий у каждого из нас один – его совесть. Думаю, что именно поэтому Комиссия продержалась уже четыре года и, уверен, продержится еще.

Вы в свои годы, уже не очень молодые, взвалили на себя такую тяжкую работу – тяжкую во всех отношениях: она отнимает время, силы, душевные, физические, вы вынуждены пропускать через себя все эти кошмарные истории плюс огромный груз моральной ответственности. Что это для вас – долг,

искупление, покаяние? Есть этому определение в двух словах?

В одном слове – это невероятное благо. Не для того, кого с моей помощью помиловали, а для меня самого. Да, это тяжкий труд, это, я бы сказал, нравственная работа, часто я ночью не могу уснуть под впечатлением от прочитанных дел. Но это очищает мою душу. И я рад, что я для себя выбрал и мне доверили такую миссию. И уверен, что эта наша деятельность принесет нашей стране добрые плоды.

«Времена не выбирают...» Вы родились в царской России, прошли с этой страной долгий и тернистый путь. Не хотелось бы вам родиться в прошлом веке или в будущем? Вы, такой начитанный с детства ребенок, вы абсолютно все знаете про все времена и народы. Если бы вы могли выбрать, – где бы и когда вы хотели родиться?

Я хотел бы родиться тогда, когда я родился, и там, где я родился. Потому что все то хорошее, что я испытал и прожил, и прочувствовал, связано с этим временем и с этой страной. Здесь я был долго и по-настоящему счастлив – и в любви, и в дружбе, и в профессии. Здесь я все любил и люблю: город моего детства Горки, город всей моей жизни Москву, люблю природу России, ее просторы, ее реки, леса. На эту любовь покушались, ее пытались отнять у меня, уничтожить. Не получилось.

Из цикла бесед
**«НА СОКРОВЕННЫХ
СКРИЖАЛЯХ
ПАМЯТИ»**, 1994—1998 гг.

В России пресловутый «еврейский вопрос» никогда не сходит с повестки дня. Считаете ли вы, что такой вопрос существует, не в том, расхожем, даже вульгарном смысле: есть ли в России антисемитизм или нет (такая точка зрения ведь тоже существует), а в том глубинном, трагическом звучании, которое слышится в стихах Елены Аксельрод:

*Не знать бы привилегии печальной
Расстаться с тем, с чем всей душой срослась,
С чужбиной нареченной, изначальной,
Той, что с рожденья родиной звалась...*

Существует ли еврейский вопрос? Конечно, существует. Это понятие очень сложное, в него следует включать и политику, и социологию, и историю, и культуру, и нравственность. И внутреннее самоощущение каждого человека. Я не взялся бы говорить о еврейском вопросе вообще. Я могу только говорить о своем личном опыте, о своем ощущении, не более того. Мои предки родились в России, где я сам родился и живу. Это моя родина, больная, мятущаяся, самобытная и противоречивая. Но для меня это родная мать, и, несмотря ни на какие испытания, выпавшие на мою долю, у меня нет ощущения чужака. Человек не выбирает родину, как не выбирает отеческий дом и родителей, имя свое и национальность.

Тогда давайте обратимся к вашим истокам. Вы родились до Великой Октябрьской социалистической революции в Могилевской губернии, в маленьком белорусском городе Горки, что в «черте оседлости», то есть в местечке?

Горки – это город, причем древний, он существовал в этом качестве уже в XVI веке. В этом городе, когда я родился, было восемь с половиной тысяч жителей, пять церквей, шесть синагог, один костел. Можно ли было назвать этот город еврейским? Можно. Но с таким же основанием его можно было считать и русским городом. На базарной площади, преимущественно в будние дни, продавались маковники, кухэлэх, земэлэх и другие еврейские сладости, а также хлеб и много всякой всячины. Это были еврейские ларьки. Но два раза в неделю – в шабат и в выходной день – большая базарная площадь города бывала запружена толпой крестьян, торгующих молоком, маслом, грибами, ягодами. Это был настоящий русский базар – с цыганами, с крестьянами в поддевах, на возах с высоко задранными оглоблями.

Мама, наверное, пела вам еврейские колыбельные песни. Вы говорили на идише. Мир явился вам в идишском звучании – значит, идиш был вашим родным языком?

Да, моим первым родным языком был еврейский язык – идиш. Но даже самые ранние мои детские воспоминания связаны с русской речью. К тому же и родители мои говорили между собой не только по-еврейски, но и по-русски. Кроме того, я и мои товарищи, еврейские мальчишки, активно общались с нашими русскими соседями, вращались, как сейчас говорят, в русскоязычной среде. Поэтому мне иногда кажется, что я начал говорить по-еврейски и по-русски почти одновременно. Идиша разговорного я сейчас, к сожалению, почти не помню, лишь отдельные словечки, которые навсегда запомнились с детства, непристойности, шуточки. А вот песни еврейские помню до сих пор. Моя мама очень любила петь и лишь гораздо позже, когда ее не стало, я узнал, что слова многих песен она сочинила сама. Мама и читала нам с братьями на идише Шолом-Алейхема, Ицхока Переца, Менделе Мойхер-Сфорима.

Я не разлюбил свой первый родной язык, не предал его, просто со временем он перестал быть моим: мир, в

котором я прожил большую часть своей жизни, был русскоязычным, мне не с кем было говорить на идише, и читал я по-русски, и книги свои писал по-русски – так повернулась жизнь. Даже мама научилась писать по-русски, чтобы иметь возможность переписываться с двумя сыновьями, блуждавшими по далеким лагерям.

Но я всю жизнь любил еврейскую музыку, в свое время не пропустил ни одного спектакля в Еврейском камерном театре и все-таки помнил идиш, потому что огромное удовольствие, которое получал от игры Михоэлса, Зускина и других артистов этого замечательного театра, наверное, было бы невозможно без знания языка, он оживал во мне, их искусство возвращало меня к родному языку.

И до сих пор я с удовольствием вставляю в разговор еврейские слова, пословицы, а иногда даже пою по-еврейски, когда никто не слышит.

Что значило для вас в первые годы вашей жизни быть евреем?

Разумеется, я не только с самого раннего детства знал, что я еврей, но и ощущал себя евреем. В этом не было ничего особенного, нарочитого – еврейство было образом жизни, традициями, праздниками, наконец, просто бытом. Большая часть моих детских впечатлений, игр и радостей связана с традиционной, обрядовой стороной жизни евреев в моем городе. Таков был уклад жизни, – синагога была в то время не только местом для молитв и всяких религиозных обрядов, но и своеобразным клубом – центром общественной и культурной жизни всех евреев города. Мы, дети, ходили с родителями в синагогу всегда, правда не столько молились, сколько баловались, но синагога была привычным для нас местом. Так же, как традиции еврейской кухни, еврейских праздников. Все это было хорошо знакомо с самого детства, очень интересно, наконец, это было вкусно, и мы все это любили.

Еврейские праздники – очень веселые праздники, особенно для детей. Пурим, Ханука – это маскарады, разрешенные азартные игры, это масса интересного, вкусного.

Отделяло ли нас что-то кардинальное от наших русских сверстников? Нет, не отделяло. Надо сказать, что русские мальчишки охотно принимали участие в наших национальных играх – с деньгами, с дрейдэле (ханукальным волчком) и в других. Но и мы тоже с удовольствием участвовали во всех рождественских играх и прелестных забавах православной Пасхи, это было ничуть не менее интересно.

Дразнили ли вас в детстве «евреем»? Помню по себе – почему-то это было жутко обидно: «евррррей-ка, бррррынзы хочешь?» Плакать хотелось, убежать, спрятаться, а иногда даже и умереть, чтобы больше это не слышать.

Нет, меня никто не дразнил евреем. Это слово не было бранным. Сказать: «он – еврей» все равно, что «он – мужик». В этом не было ничего обидного: простое определение, констатация факта – не более. Гораздо хуже звучало: «он – дурак».

Я не помню, чтобы меня в детстве называли жидом, желая обидеть, просто не помню.

Город моего детства был городом равноправия. Конечно, я не могу судить о ситуации в городе вообще. Но мне думается, что то равенство, которое существовало в нашей мальчишеской среде, безусловно в какой-то степени отражало и взаимоотношения среди взрослого населения.

Ваш детский опыт не ограничивается «чертой оседлости», довелось вам пожить и в центральной России. Впечатления те же?

Да, пожалуй. Действительно, с 1915 по 1919 год я жил в русском городе Касимове в Рязанской губернии. В этом го-

роде в то время проживало всего семь или восемь евреев, они были здесь этнографической редкостью. Эти евреи попали в Касимов исключительно по той причине, что во время Первой мировой войны была отменена «черта оседлости». В школе, где я учился, мальчишки из других классов сбегались, чтобы посмотреть на меня – они никогда в жизни не видели живого еврея. Но и здесь я ни разу не испытывал ни унижений, ни оскорблений. В этом искони русском городе со значительной примесью татарского населения отсутствие всякой религиозной дискриминации доходило до того, что я не только учил Закон Божий, и Отец Василий ставил меня в пример другим ученикам, как наиболее преуспевающего в церковнославянском, но даже какое-то время пел в церковном хоре. У меня был прекрасный альт, и регент хора, по-видимому, во имя искусства плевал на то, что я еврей.

Надо сказать, что и мои родители, вернее, мама (отец был на фронте), несмотря на свою религиозность, насколько не была шокирована этим фактом. Так что в детстве «быть евреем» для меня значило – просто «быть» и ничего более. И никакого повышенного интереса к еврею, как к таковому, у меня не было, мне в жизни все было интересно, я жадно впитывал любую новую информацию, и Новый Завет мне был ничуть не менее интересен, чем Ветхий Завет.

Значит, в хедере вы никогда не учились?

Учился, правда, всего несколько месяцев в 1918 году, когда отец снова привез меня в Горки, а сам уехал за остальными домочадцами в Касимов. Мой богобоязненный горецкий дядя, сапожник, у которого я жил, решил во что бы то ни стало превратить своего обрусевшего племянника в нормального еврейского мальчика. Это был ужасный период, хуже в моем детстве не было ничего. Надо признать, что в хедере я ничему не научился, кроме непристойных слов на древнееврейском языке лошен-кейдеш.

Но зато за несколько месяцев обучения понял, что хедер, мягко говоря, не самое приятное учебное заведение. Это был классический хедер, описанный многими еврейскими писателями, прежде всего Шолом-Алейхемом. Мне кажется я никогда не испытывал такого всепоглощающего страха, как в те дни, когда обучался в хедере. И злого меламеда реба Нахмана вижу до сих пор – его реденькую козлиную бородку и тяжелую длинную линейку, которую он все время держал за спиной наготове.

Отразился ли на вашей судьбе пресловутый «пятый пункт»? Или все, что произошло в вашей жизни, лежит за скобками национального признака?

Вероятно, отразился. Но я не знаю, когда и каким образом. Кроме «пятого пункта» было достаточно поводов, чтобы вычеркивать меня из всех списков, куда-то не пускать, чего-то не давать. Начиная с 1955 года, когда я вернулся из лагерной жизни в эту жизнь, я всегда был на подозрении. Я много лет работал в литературе, был довольно заметен и в прозе, и как критик в детской литературе, но меня никогда не выбирали ни в какие бюро, президиумы, вообще ни в какие «органы». До 1988 года я был «невыездным», меня не выпускали за границу даже в туристические поездки. Выездным я стал, когда мне исполнилось 80 лет. Причина всего этого таится, видимо, и в моем политическом прошлом, и в еврействе тоже. Не знаю, что тут перевешивало – 58 статья или «пятый пункт», а может, они суммировались. Не знаю, правила этой арифметики мне никто никогда не разъяснял.

Разумеется, я прекрасно знаю, как «пятый пункт» ломал судьбы людей, ограничивал их в выборе учебного заведения, профессии, закрывал путь к вершинам в любимом деле, человеку не давали забыть об этом, напоминали – «знай свой шесток». Это отвратительное проявление государственного антисемитизма.

В таком случае давайте – еще раз о еврействе. О внутреннем, неизбежном, как бы ни прятаться от этого, ощущении изгойства. Думается, не может быть ничего страшнее – ощущать себя чужаком в своем доме, под родным небом, среди милых сердцу берез и ракут. Разумеется, речь идет о диаспоре, точнее – о еврейской диаспоре России.

Что же это такое – быть евреем в России?

Рвущееся сквозь все препоны и несправедливости национальное самосознание, присущее малым народам великой империи? Протест? Быть может, не вполне осознанный вызов всевозможным проявлениям антисемитизма? Или просто – буквенное обозначение, полученное при рождении, как имя и фамилия, то есть то, что сознательно не выбирают, как не выбирают родителей?

Я уже сказал, что никогда не ощущал этого изгойства в детстве. Быть может, поэтому никогда не ощущал его и позже. Конечно, меня не раз за мою долгую жизнь называли жидом и жидовской мордой и как-то еще по этому же признаку, но я никогда не чувствовал себя униженным. Для меня это было равнозначно любой грубой брани в мой адрес, не более того. Не могу я говорить и о том, что еврейство было для меня клеймом, хотя, разумеется, я не сам выбирал национальность. Может быть, дело в том, что я всегда ощущал себя не просто евреем, а евреем, включенным в еврейство. И никогда не испытывал чувства неполноценности по этому поводу. Напротив, мне было лестно читать о великих евреях – музыкантах, ученых, писателях, да в разных областях человеческой деятельности их достаточно много. Я даже, мне кажется, неосознанно чувствовал свою сопричастность к ним. Может, благодаря им я никогда не испытывал чувства униженности национальностью. А может быть, это свойство моего характера. Наверное, и то и другое.

Я ведь долгие годы провел в местах, где человека непрерывно унижали, топтали его достоинство, превращая его в грязь, в ничто. Но превратится ли человек в ничтожество, зависело от него самого. И тут, могу вас заверить, национальность не играла никакой роли.

Иногда думаю, что, если бы не антисемитизм, государственный, бытовой, воинствующий или затаенный, большинство российских евреев давно забыли бы о своей национальной принадлежности. Не помогли бы никакие основополагающие постулаты иудаизма, которые утверждают, что рожденный евреем навсегда остается евреем, независимо от места проживания, среды обитания и даже религиозной принадлежности.

Другими словами – антисемиты, как санитары леса, заставляют евреев все время быть в наилучшей форме, быть отличниками, кандидатами, лауреатами.

Это серьезный вопрос. Он занимал многих умных и талантливых людей во все времена. Известны, например, слова Юлиана Тувима: «...не та кровь объединяет, которая течет в жилах, а та, что течет из жил». Из того, что я рассказываю о себе, ясно, что меня антисемитизм не очень задел. То есть я с ним сталкивался, безусловно, но всегда относился к нему не иначе, как к дурной болезни. И к антисемитам отношусь исключительно брезгливо, как к вшивому человеку, скажем. Я отбрасываю сейчас политическую и нравственную сторону этого вопроса, я говорю о вульгарном антисемитизме. В этом смысле любое соприкосновение с антисемитом вызывает у меня дурное чувство собственного пресыхания.

Так слава антисемитам?

В каком-то смысле – да.

Считаете ли вы, что еврей в России должен знать свое место? Такая позиция бытует не только среди наших неонацистов, представителей общества «Память» и государственных чиновников, проповедующих и активно осуществляющих на практике так называемую идею «национально-пропорционального представительства». Как это ни грустно, но и сами евреи зачастую всем заповедям предпочитают одну, порожденную болезненным (не без основания, увы) сознанием теперь уже бывшего советского человека – «не высовываться!». Не высовываться. Чтобы не раздражать, не напоминать о себе лишний раз, не вызывать огонь на себя. Чтобы не быть во всем виноватым. Ведь и без того понятия «еврей», «враг», «козел отпущения», «без вины виноватый» (этот ряд можно продолжать в том же ключе) – практически синонимы в современном русском (советском) толковом словаре.

Так считаете ли вы, что еврей в России не должен высовываться, другими словами – что он не вполне полноценный член общества?

Нет, ни в коем случае, полная чушь. Я презираю всех, кто сделал это своим жизненным принципом. Никто не может спасти достоинство человека, кроме него самого. И евреи здесь, в России, разумеется, должны вести себя так, как будто они полноценные граждане своей страны.

Все же – «как будто»?

Да никакого «как будто». Евреи абсолютно полноценные члены общества. Как это – «не высовываться»? Это значит – Ландау не должен был высовываться? Михоэлс? Ойстрах? Левитан? Мандельштам? Глупо и смешно. Я этого не понимаю. Вульгарный, пошлый, провинциальный взгляд на право человека быть человеком.

Вы родились в начале века, на вашу долю выпали тяжкие испытания, нелегкий путь пришлось пройти от полного крушения всех иллюзий до обретения новых надежд. Что вы можете сказать о российском антисемитизме – как он видоизменился, что его породило, а что, быть может, и противостояло ему?

Я не рискую делать глобальный анализ, слишком сложный вопрос. Могу лишь с уверенностью утверждать, что с 1917 по 1937 годы никакой на государственном уровне дискриминации евреев не было. То есть именно революция фактически уничтожила дискриминацию по национальному признаку. В особенности это коснулось евреев, что объясняется, прежде всего, тем, что ни одна другая национальность в царской России не была ограничена «чертой оседлости». Татары, узбеки, горцы – все они могли жить везде, где угодно. Дискриминации государственной, социальной, бытовой подвергались только евреи. Вопрос о ликвидации такого неравноправия поднимали еще задолго до революции многие прогрессивные русские интеллигенты, и даже вполне консервативные государственные деятели призывали к этому.

Чем это можно объяснить? С чего это вдруг их так беспокоило ограничение прав евреев, такое, в общем, привычное явление для всех времен и народов?

Это беспокойство было обусловлено, прежде всего, тем, что нарушался основополагающий принцип государственности: все подданные государства должны быть равны. Если на них возлагают одинаковые обязанности – платить налоги, выполнять воинскую повинность, соблюдать законы, то они должны пользоваться равными правами. Среди консервативных российских государственных деятелей было немало государственников, для которых был неприемлем сам принцип «черты оседлости» и дискриминации населения по национальному признаку. Принципиально неприемлем.

Точнее, впрочем, не по национальному, а по религиозному. Ведь никакого «пятого пункта» тогда не было, различие существовало лишь в вероисповедании. Дискриминация касалась лишь людей иудейского вероисповедания. Достаточно было еврею принять христианство, как он получал все права. Это, конечно, дикость, но было именно так.

Все это разрушила революция, и евреи, особенно молодежь, восприняли свое новое положение с энтузиазмом. Казалось, открылись невиданные доселе горизонты. Конечно, теперь мы знаем, что где-то в верхах уже тогда зрели новые, изощренные формы антисемитизма. Товарищ Сталин родился антисемитом, это вне всяких сомнений, в нем уживались все пороки мира.

Но, тем не менее, – до 1937 года никаких проявлений антисемитизма не было. Более того, я никогда не сталкивался с антисемитизмом в лагере. Как это ни странно, всему, что существовало в те годы в мире, не было места в жизни ГУЛАГа.

Это вам так повезло или вообще так было? И что вы имеете в виду – антисемитизма не было среди заключенных или со стороны лагерного начальства тоже?

Нет, это не только мой личный опыт. Я утверждаю, что антисемитизма в той системе вообще не было. Более того, я оспариваю заявление Солженицына и других, что лагерное начальство почти сплошь состояло из евреев. Несомненно, и в НКВД, и в руководящей верхушке ГУЛАГа было немало евреев. Но в Устьвымлаге, где я провел с 1938 года 8 лет, было двадцать четыре лагпункта и только на одном из них начальник был еврей. А на всех других пунктах ни среди начальников, ни среди оперов или вертухаев я не встретил ни одного еврея. Чего не могу сказать о заключенных: зеков-евреев было очень много.

Возвращаясь к тому, о чем мы уже говорили, – «высываться» евреям или не «высываться». Как, по-вашему, должен ли был тот еврей, который выбрал для себя эту стезю – сотрудник НКВД, палач, начальник лагпункта или нечто подобное, подумать о том, как его дела отзовутся на соплеменниках, какие все это может иметь последствия?

Думаю, что никому из них это не могло прийти в голову. Ибо сукин сын есть сукин сын, независимо от того, еврей он или чукча. И нравственные критерии у него совершенно иные, скорее всего, их попросту не существует.

Антисемитизм живуч. И евреи уезжают из России. Что гонит их – зов родины, земли Израилевой? Страх? Надежда? «Только нет приюта в мире человеком // Странникам евреям с песней сумасшедшей....» Мы с вами сегодня уже вспоминали Тувима.

Уезжают. И сегодняшним репатриантам из России на своей исторической родине трудно, а порою почти невозможно вжиться в новую культуру, в иной жизненный уклад, в непривычные национальные традиции Земли Обетованной, пусть искони свои, но давно утраченные в поколениях на прежней родине, в России, вытесненные вненациональными, уродливыми советскими ритуалами.

Не утопична ли, как вы полагаете, в свете этих и множества других неизбежных «несстыковок» сама идея сионизма – воссоединение на исторической родине всех евреев, волею трагической судьбы народа веками живших в условиях рассеяния?

Когда-то я считал эту идею нереальной, но романтической и очень красивой. Мне нравились слова: «Ба шана абаа бирушалаим» – «На будущий год – в Иерусалиме». Было в этом пожелании что-то необъяснимо волнующее. То есть я

воспринимал эту идею как некий светлый миф о светлом будущем. Но когда, вопреки всему, мучительно, трудно, родилось государство Израиль, я был счастлив. И считаю нормальным, что евреи стремятся туда. Те, которые хотят, разумеется. И бесконечно уважаю тех, кто, нелегко адаптируясь (как говорят в Израиле, — абсорбируясь), преодолевая невероятные трудности, живет в Израиле, строит его, защищает. Но дело в том, по-моему, что каждый человек должен жить там, где ему нравится или где он хочет жить. Здесь нет предмета для спора. Каждый имеет право на свой выбор: еврей, русский, норвежец — все. Это должно стать нормой для всего мирового сообщества. И так обязательно будет рано или поздно, человечество обязательно придет к идее такого равенства для всех.

Вся история российского еврейства — это, прежде всего, и, наверное, более всего история черты оседлости, или местечек, «штетл», как любовно и несколько иронично называли места своего проживания их обитатели. Именно здесь, в местечках, за долгие годы российскими евреями был создан свой, неповторимый быт, жизненный уклад, своя культура.

Когда была отменена черта оседлости, на территории России перестало существовать еврейское гетто. Но одновременно с этим ушел и целый мир — своеобразный мир еврейских будней, Суббот, праздников. И что самое страшное для народа — ушел язык.

Значит ли это, что ушла или уходит навсегда удивительная и неповторимая культура еврейского местечка?

Это не очень точное определение — еврейское местечко. Огромная и оставившая великий след культура создана не местечком как таковым, а тем геопространством, которое называлось «чертой оседлости». Что такое «черта оседлости»? Это еврейское гетто. Но если, скажем, в Риме или в

других европейских городах гетто занимало один-два квартала, то в России оно охватывало 16 губерний с населением в несколько миллионов человек. Говорить о том, что все это были мелкие ремесленники, лавочники или скотоводы, что все они жили бедно, впроголодь, перебиваясь с хлеба на воду, – нельзя. Потому что в этом огромном гетто, помимо всего прочего, шла напряженная, интересная высококультурная жизнь. Были среди евреев врачи, юристы, артисты, писатели, художники, музыканты. Кроме того, нельзя сказать, что эта культурная жизнь была замкнута границами гетто, потому что даже при тех строжайших законах, которые существовали в царской России, любой творческий человек мог выехать из гетто.

Таким образом, та культура, которая создавалась в так называемом «местечке», а в это понятие входили и большие города, имевшие мировое значение (Одесса, Харьков и другие; кстати, в некотором смысле и государство Израиль тоже вышло из российской «черты оседлости»), эта культура распространялась не только по всей России, но и по всему миру.

И будущий исследователь культуры еврейского местечка будет находить следы, отголоски, отзвуки этой культуры почти во всех проявлениях духовной жизни всех европейских и не только европейских народов прошлых веков и в настоящее время, и я уверен, и в будущем тоже.

На каком бы языке ни писал гений (в литературе, в живописи и в музыке) – все равно в его творчестве слышны мотивы еврейской культуры. Не буду сейчас приводить примеры – они общеизвестны.

Так что будем говорить об этой культуре не с пренебрежением и снисходительностью, как это, к сожалению, иногда слышится сегодня, а с самым высоким почтением.

Кстати, и в Израиле бытует, к сожалению, презрительное, пренебрежительное отношение к идиш-культуре и литературе на языке идиш. Меня это огорчает, есть в этом что-то чисто «совковое»: «отречемся от старого мира»... То есть,

не нужен нам, бывшим выходцам из России, а ныне старожилам Израиля, ваш (наш?) старый мир, ваши воспоминания о местечке и даже ваш идиш не нужен. Я не приемлю никакой максимализм, и такая позиция меня не радует, но мне почему-то кажется, что идиш-культура и идиш-литература не исчезнут ни из памяти народа, ни из сокровищницы мировой культуры, слишком велик и значим вклад, сделанный мастерами еврейского слова, музыки, живописи. Это принадлежит вечности, независимо от сегодняшних конъюнктурных соображений тех или иных представителей российской или израильской культуры и истеблишмента.

Вы недавно побывали в Израиле, на Святой Земле. Почувствовали ли вы, что это земля ваших далеких предков, что это ваша историческая родина? Не возникло ли ощущение, что вы всю жизнь были посторонним в чужом доме и наконец обрели или получили возможность обрести родные стены, быть своим среди своих? Это ли не счастье – жить евреем среди евреев, не неся ни перед кем невольной вины за свое чужеродное происхождение? Или все-таки: «Не знать бы привилегии печальной...»?

Я впервые попал в Израиль старым человеком, мне исполнилось 84 года (говорю «впервые» не потому что успел побывать там еще раз, а потому что мечтаю об этом). Должен признаться – я испытал очень сильные впечатления во время пятинедельного проживания в Израиле, главным образом, в Иерусалиме. Остаться равнодушным к этой стране, к этому великому городу невозможно.

Ощутил ли я, что это земля моих предков? Да. Меня волновали знакомые с раннего детства синагогальные службы, полузабытые молитвы. Мое воображение поражали древние камни – знаки и символы тысячелетней истории моего народа, они будили мою память. Порой мне казалось, что я всю эту историю помню, прошел, пережил все испытания вместе

с моим народом. Более того, там, в Иерусалиме, я вспомнил свою малую родину, вспомнил Горки, вспомнил родственников, друзей, знакомых, которых уже давно нет на свете. Почему именно в Иерусалиме они все снова пришли ко мне – не знаю. И там же, в Иерусалиме, пришло неожиданно ко мне решение дописать, сделать книгой ту мою старую, чудом сохранившуюся тетрадь, в которой писал когда-то украдкой долгими зимними ночами в Усольяге для моей дочери историю своей семьи, своего детства, своего первого дома, начала жизни. Одна удивительная встреча, о которой пишу в первой главе этой книги, странным образом повлияла на это решение.

Но справедливости ради я должен сказать, что в полной мере ощутил в Израиле и то, что это родина мировой цивилизации, в которой я живу. И, в частности, христианской цивилизации. Ведь Израиль – земля библейская. И я острее, чем когда-либо, почувствовал, в особенности в Иерусалиме, что это не только земля Ветхого Завета, но и Нового Завета. И мне, старому еврею, не стыдно признаться в том, что впервые увиденные воочию Храм Гроба Господня, и Голгофа, и Гефсиманский сад, и Геенна Огненная, и другие, знакомые мне с детства по книгам библейские места, произвели на меня ничуть не меньшее впечатление, чем иудейские древние святыни. Как, впрочем, и Собор Парижской Богоматери, и величественные итальянские католические храмы, все, что мне посчастливилось увидеть во время моих поздних странствий по разным странам.

Я полюбил Израиль, полюбил с первого взгляда и навсегда. Теперь он постоянно живет во мне не только волнующим воспоминанием, но и чувством приобщения, свершения. Ведь я побывал наконец в Иерусалиме, сбылось древнее пожелание. И хочу побывать еще, если доведется.

Но я вернулся из этой поездки домой, к очередным нашим предвыборным баталиям и, несмотря на остроту всех внутрироссийских проблем, даже немного успокоился. Наверное, я слишком стар для перемен. Мой дом здесь, в

России. И я ничуть об этом не жалею, несмотря ни на что. И никогда не жалел.

Мы с вами не раз касались «еврейской» темы в разных аспектах, но, скажем, еще четыре года назад о еврейской жизни Москвы почти нечего было сказать. Сейчас, в конце 90-х, Москва-еврейская бурлит кипучей жизнью, общественной и культурной. Чего только нет: еврейский университет, еврейские школы для детей, в том числе и религиозные, благотворительные организации, различные программы для молодежи, для стариков, для слепых и глухих, есть Московский еврейский общинный дом, открылось несколько новых синагог, издаются газеты и журналы самых разных направлений, работают еврейские рестораны, проводятся фестивали еврейской культуры и еврейской книги. Наконец, евреи открыто, в лучших московских концертных залах шумно, празднично, ярко (иногда чересчур шумно и ярко), отмечают праздники – Хануку, Пурим, Рош А-Шана. Радует вас этот ре-нессанс или вызывает какие-то другие чувства?

Радует, конечно, радует. Мы говорили с вами о том, что ушел целый неповторимый мир еврейского быта, еврейской кухни, еврейской культуры, еврейского уклада жизни с неизменным, основополагающим религиозным началом. Но культура, дух, духовность неистребимы – это факт. Книга, слово, музыка, жест, колорит – все присущее еврейскому народу, как, впрочем, и другому самобытному народу, не может исчезнуть бесследно. И я думаю, – точнее сказать, что не возрождаются, а возвращаются к нам еврейские традиции в самых разных формах. И язык возвращается, потому что сегодня не только старики его помнят, но и дети учат, и молодежь поет песни на языке идиш, на языке своих предков. И то, что мы все вместе так легко вспоминаем, так легко и радостно приобщаемся к еврейскому, то, что евреи в

Москве и других городах на глазах у всех, не таясь, празднуют свои праздники – все это говорит о том, что еврейский народ непобедим. Он вечен. И это меня, конечно, радует, и этим я горжусь.

Но порой сквозит в этом нашем возвращении к истокам и что-то ажиотажное, нарочитое, показное. Это огорчает. Много внимания уделяется шумным публичным акциям, гораздо меньше достойным культурным проектам. Это деликатный момент, потому что он касается распределения средств от еврейских организаций разным программам. Я не компетентен в этом вопросе, но мне кажется, что здесь есть о чем подумать всем вместе, сообща. Вот только пока, мне кажется, сообща – не получается. И это особенно тревожит – разобщенность, неуместная состоятельность и даже конфликтность в среде еврейских организаций, которых становится все больше и больше, и разобраться в их принадлежности и приоритетах очень непросто.

Если мы хотим оставаться евреями здесь, в России, все вместе – это очень хорошо, это понятно, и я рад, что дожил до этого времени. Но если кто-то хочет получить для себя лично дивиденды с этого процесса, я категорически это не приемлю.

Извечный вопрос, без него не обойтись – какой вам видится судьба евреев в России?

Непростой вопрос, вряд ли кто-то возьмется ответить на него с абсолютной уверенностью. Во всяком случае, не я. У еврейского народа была трудная судьба всегда, во все времена, на каких бы территориях ни жили евреи. Поскольку мы только что говорили о возрождении еврейства в России, может быть, мои слова прозвучат неожиданно – но тем не менее: большого оптимизма по этому поводу у меня нет. И странно было бы. Взрывы в синагогах в разных городах, осквернение могил на еврейских кладбищах, безобразные выходы наших российских фашиствующих молодчиков (как это

страшно звучит: фашисты в России), наконец, антисемитская и откровенно фашистская пресса, которую так и не смогли (или не захотели, прикрываясь казуистическими отговорками) ни закрыть, ни призвать к ответу. А публичные оголтело шовинистические заявления некоторых политических деятелей, вызывающие возмущение и стыд. И полное отсутствие адекватной реакции со стороны властей. Нет, все это не вселяет оптимизм.

Но тем не менее я думаю, что евреи никогда не покинут Россию навсегда. Кто-то уедет, а кто-то останется. Вряд ли еврейская жизнь возродится здесь в полной мере, нет к тому предпосылок. Но в одном я убежден – евреи будут преумножать славу и этой страны, и своего народа всегда.

Беседа
**«КАТОРГА
ИЛИ ЖИЗНЬ»**, 1998 г.

Заканчивается 1998 год. Через несколько дней мировое сообщество будет отмечать День прав человека и 50-летие принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. Знаменательное событие в истории человечества, в истории тех государств, для которых подчинение закону, исполнение закона – есть норма жизни. Увы, не так обстоит дело в нашей стране. Так было, так есть, неужели так будет всегда?

Вы назвали две знаменательные даты, не могу не вспомнить еще одну – 45 лет исполнилось недавно со дня смерти Сталина. Никогда не думал, что переживу тирана почти на полвека. Не думал, что выживу в лагерях, что доживу до освобождения, до полной реабилитации, до разоблачения так называемого «культ личности» Сталина – тем более.

А дожил и до падения СССР, и до отмены руководящей роли КПСС, до развала этой партии, принесшей стране неисчислимые беды. Не стало КГБ, но открылись его архивы. И я там побывал, и это потрясение пережил – над раскрытыми делами своих близких.

Боже мой, сколько перемен – перестройка, демократия, гласность, новая рыночная экономика. Никогда не думал, что все это случится в этом веке и на моем веку.

Откуда тогда не проходящие боль и горечь? Не только воспоминания о прошлом тревожат душу, о прошлом, в котором столько утрат.

Боль и горечь вызывает и сегодняшний день, когда я вижу, что жива и сталинская психология, десятилетиями насаждаемая таким тяжелым способом, и сталинские идеи, и сталинские методы. Призывы к жестокости, к террору, к чрезвычай-

чайным комиссиям, к суровым карательным мерам, к казням звучат постоянно и отовсюду. И сверху, и снизу – и власть требует, и народ хочет. Многострадальный наш народ хочет жестокой карающей власти.

Ну, как тут не горевать?

Действительно, почти полвека, как умер тиран, но неизбывны боль и горечь воспоминаний тех, кого задел этот страшный молох, или их близких, не забывших тех страшных лет.

Но ведь и сегодня с портретами Сталина ходят, как с иконами, и славословят его – и старые, ровесники века и всех кровавых событий, и молодые, изучающие историю по-своему.

И покаяния, настоящего, подлинного, не показного ни от КГБ, ни от правящей верхушки так и не дождались мы пока. А вот предложение возродить каторгу прозвучало.

Как вы это объясняете? Врожденным генетическим вывихом или просто элементарным бессилием и отсюда – безответственными заявлениями, по принципу – о чем бы ни говорить, лишь бы ничего не делать. А глядишь, кто-то и испугается.

Миллионы безвинных жертв сталинского тоталитарного режима у нас за плечами. Еще живы, их осталось немного, но живы те, кому довелось пройти этот крестный путь. А спикер Государственной Думы господин Селезнев предлагает для усиления борьбы с преступностью возобновить каторгу, чтобы ужесточить наказание за особо тяжкие преступления. Чисто сталинская идея – отец народов, как известно, восстановил в СССР каторгу, как особый вид наказания, в апреле 1943 года.

В соответствии со старыми российскими традициями каторжанин лишался имени, которое заменялось номером, лишался всех гражданских прав и приговаривался к

особо тяжелым физическим работам и строгому режиму содержания. Но сталинские лагеря и тюрьмы и до этого по сути своей все были каторжными. И по жестокости обращения и нечеловеческим условиям в сравнение не шли с суровой каторгой царской России, когда каторжанин, даже будучи какое-то время закованным в кандалы, имел право на свидание с женой, на каторге рожали детей. И как бы ни была тяжела физическая работа каторжанина, нормы были посильными, и кормили так, чтобы он эту норму мог выполнить. Известно, что в царское время никто из каторжан не погиб от непосильной работы.

Задача была – не истребить, а сурово наказать. В отличие от Сталина, цель которого была – геноцид населения, уничтожение всех неугодных, подозрительных или просто попавших в эту мясорубку: «лес рубят – щепки летят».

В условиях сталинских лагерей не надо было молить бога о смерти, она настигала без всяких просьб и тех, у кого уже не было сил, и тех, кто хотел жить. Только насильственная смерть – от нечеловеческих условий, от глумления над человеком и нравственного, и физического со стороны лагерных вертухаев, тюремщиков всех рангов, закоренелых уголовников.

О каторге можно много говорить, много страшных подробностей знаем мы о ней из разных источников, много есть литературы по этому поводу. Вспомним хотя бы «Остров Сахалин» Антона Павловича Чехова, совершившего свое паломничество на эту самую страшную из каторг.

А сегодняшняя ситуация в этой области – что, намного лучше прежней?

Вот именно. Нам незачем далеко ходить – сегодняшние наши тюрьмы и лагеря представляют собой худший вид каторги, страшно представить себе эти условия. Нам не для чего открывать каторгу заново – она у нас есть.

И мы должны решить эту проблему нормальным цивилизованным путем – налаживать экономику. И если у нас растет преступность – строить новые СИЗО, тюрьмы, улучшать условия содержания, как в цивилизованных странах. Конечно, на все на это нужны деньги. Но не обязательно государственные. Могут существовать какие-то благотворительные фонды, взносы от граждан, единовременная помощь. Между прочим, милосердие к больным, убогим, в том числе и к бывшим каторжанам всегда было традиционным на Руси. Где же это теперь?

Правительство и правоохранительные органы делают резкие категорические заявления о борьбе с преступностью вплоть до уничтожения.

Что они имеют в виду: в ответ на убийства со стороны криминала – убийства со стороны государства?

Расстрел на месте?

Отмену смертной казни?

Или ничего не имеют в виду?

Мне кажется, что все сегодняшние разговоры о каторге, так же, кстати сказать, как и разговоры или даже решение Думы о восстановлении памятника Дзержинскому на Лубянке – все это имеет чисто агитационное значение, а скорее даже – отвлекающее. Никакого практического смысла в этом нет. И страшна не каторга, а разговоры о ней, то, что и законодательная власть, и, к сожалению, средства массовой информации уделяют этому так много времени.

Есть в стране гораздо более насущные и неотложные проблемы, от которых, в свою очередь, зависит и рост преступности (или снижение роста), и условия содержания в местах заключения. Решать эти проблемы, как и все другие, можно одним путем – строить нормальное государство с нормальной экономикой.

Стабильная экономика – основа стабильной жизни общества. Это азбучная истина. А в нормальном стабильном обществе не существует дилеммы – жизнь или каторга?

Только жизнь.

Кто или что явится наконец гарантом стабильности в нашем обществе?

Я здесь не придумаю ничего оригинального и снова повторю – нормальная экономика. И поэтому меня сегодня больше всего волнуют вот какие вопросы – утвердит ли Государственная Дума в ближайшее время предлагаемый правительством Примакова жесткий, но единственно возможный в таких условиях бюджет на 1999 год и что она потребует за это? Уже известно, что идет торг и что за утверждение бюджета думские коммунисты потребуют «головы» лучших журналистов, потребуют введения политической цензуры над печатью, радио и телевидением. Наверняка им этого будет мало.

На мой взгляд, именно это представляет наибольшую опасность для общества и должно вызывать наибольшую тревогу. И вообще то обстоятельство, что Государственная Дума занимается чем угодно, но только не принятием необходимых законов, которые могли бы способствовать улучшению экономической ситуации в стране и ослаблению социальной напряженности.

Вместо этого: состояние здоровья президента, импичмент, раскручиванием которого занимается целая комиссия, в которую входит, кстати, немало юристов, не наших, к сожалению, лучшего применения своим профессиональным возможностям; бесконечные распри, межфракционные и личные, за которыми ничего не стоит, кроме неудовлетворенных амбиций; собственные социальные блага – вот на что тратят наши законодатели деньги по их вине обнищавшего населения.

Вот что вызывает у меня тревожные мысли о возможном резком политическом кризисе, ведь по сути дела мы

сейчас вступили уже в избирательную компанию – новые выборы в Думу назначены на декабрь 1999 года. К лету эта избирательная компания развернется в полную силу. В каком состоянии будет к этому моменту наша страна, – вот какой вопрос должен занимать всех, кому не на словах, а на деле дорога Россия.

Вот что меня сегодня волнует, а не каторга и памятник Дзержинскому.

Что бы вы сейчас сказали, обращаясь к согражданам, особенно в глубинке – к тем, кому чрезвычайно трудно живется, кто мало что понимает в происходящем, а их меж тем все время тянут на выборы?

Мне хотелось бы прожить еще один год, чтобы убедиться в том, что наш народ, о котором можно сказать много горьких слов – что он пьет, что он не вырос из рабства, что он голосует за смертную казнь и за каторгу, что он завидует тем, кто живет хорошо, что ему ближе принцип «пусть всем будет плохо» – что этот народ (другого у нас нет и не будет) способен воспринимать исторические уроки, что ему достанет мужества и мудрости во всем разобраться.

Если мне доведется прожить этот год, я знаю, что он будет очень трудным – возможно, снова опустеют полки магазинов, цены вырастут непредсказуемо, не исключено введение слегка уже забытой нами системы распределения товаров, – но я готов пережить это вместе со всеми, лишь бы увидеть, что люди поняли: коммунисты, гробившие нашу страну на протяжении долгих десятилетий при советской власти, коммунисты, свалившие всю вину на демократов, – коммунисты бессильны что-либо изменить к лучшему. Одно дело – поиск и уничтожение виновных, охота на ведьм – это их стихия. Совсем другое – созидание новой жизни, достойной человека.

Жизни, а не каторги. Они этому не обучены, у них другая школа.

ГЛАВА 2

**И
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ЭПОХА**



Лев Разгон родился в начале этого столетия. «И заканчивается эпоха...» – так называется последняя глава его последней книги «Позавчера и сегодня».

21 января 1924 года пятнадцатилетний подросток подсознательно понял, что стал современником, очевидцем какого-то гигантского, поворотного события в истории страны. Лев Эммануилович вспоминал: «Хорошо помню тот день, даже место, где настигло меня это известие, помню – Пречистенский бульвар. И холодок, пробежавший по спине, когда прочитал наклеенное на фанерный щит правительственное сообщение в черной траурной рамке, – помню. Умер Ленин. В моем сознании он был настолько невыблем и вечен, что я даже не представлял себе, что он может умереть, как любой другой человек, как мой дедушка, например. Разумеется, тогда, в пятнадцать лет, я не понимал огромного значения и влияния этой личности на исторический ход событий, но, может быть, как-то интуитивно чувствовал, что и в моей жизни случилось что-то важное».

С той поры до его ухода прошло 75 лет. Он прожил и пережил так много, что, кажется, не может уместиться в одну человеческую жизнь. А вот – уместилось. И обо всем он успел написать. Или почти обо всем... И ничего не надо было выдумывать – сюжетов более чем достаточно, судьба-злодейка такой узор на полотне выткала – диву даешься. Перечитываю сейчас его книги и будто слышу неторопливый голос Разгона, долгие паузы, наполненные ожиданием его слова, порою неожиданного, как бы не из контекс-

та разговора, но всегда по-разгоновски точного. И вижу его. То, каким никогда не знала, – молодого зека-нормировщика в Усольяге, тайком пишущего ночью в толстой тетради письмо своей полусусильной несовершеннолетней дочери, с которой не надеялся когда-либо увидеться. То – босоногого горецкого мальчишку, обнимающего свою тихую безрогую корову Бирку, которая не только спасла семью от голода в тяжкие девятнадцатый–двадцать первый годы, но благодаря которой «узнал, как выглядит на самой заре, когда выпадает похожая на дождь роса, цветущее льняное поле, и что такое сенокос со всеми его прелестями...». То – уже своего, родного, каким хорошо знала и любила, на «простой провинциальной, совсем горецкой» скамейке в Иерусалимском сквере под трепещущими на ветру молодыми оливами – где, впервые в 84 года оказавшись на прекрасной земле праотцев, подолгу размышлял о корнях, об истоках, о генетических и исторических нитях, связывающих людей, независимо от места проживания, о прошлом, о будущем – о жизни, то есть.

«Жить – интересно!» – восклицал он.

В детстве было интересно все – читать, дружить, путешествовать по знакомым горецким окрестностям или по страницам любимых книг, ходить в кинематограф «Иллюзион», узнавать новые места. Позже – участвовать в строительстве новой жизни, писать, любить, верить, ждать. И снова, уже в старости, после крушения империи – писать обо всем пережитом и прожитом, живо откликаться на все события не только словом, но и активным участием, любить, дружить, верить...

Лев Эммануилович на протяжении долгой своей жизни был свидетелем и участником, вольным или невольным, стольких поворотных событий – и все тот же лейтмотив: «и заканчивается эпоха...»

– А когда же начнется новая? – спросила я его однажды.

– Новая эпоха начнется завтра, – не задумываясь, ответил он.

Разгон всегда жил в ожидании лучшего. И верил в лучшее, и эта вера его никогда не покидала.

«И ведь сбывалось! – говорил он радостно. – Конечно, на этом пути ожидания меня встречали невероятные крушения, беды и несчастья, но я выныривал из-под обломков. И становилось лучше. И было счастье. И будет счастье».

И будет счастье.

Такое ощущение появлялось у меня всякий раз после разговора с Львом Эммануиловичем. И знаю – не только у меня. Его вера укрепляла многих.

Беседа
**«МЕСТЬ
ВСЕГДА
НЕПРАВЕДНА»**, 1995 г.

Мы с вами много говорим о милосердии, о прощении. Давайте поговорим о жестокости и отмщении.

Когда читаешь вашу книгу «Плен в своем отечестве» кровь стынет в жилах – так бесчеловечно жестоки описываемые вами методы ведения допросов, способы исполнения приговоров. И огромное множество палачей-убийц. И никто не наказан. Миллионы безвинных жертв, покалеченные судьбы не только самих репрессированных, но и детей, внуков. Огромная нравственная катастрофа.

А сегодня снова – призывы к жестокости, к репрессиям. И сверху, и снизу. Пересажать, перестрелять всех требуют во имя всеобщего благоденствия.

Вы жили в ту эпоху, когда сажали и убивали каждого десятого. На вашей памяти, на ваших глазах, из вашего окружения столько людей безвинно умерло в ГУЛАГе.

А вы меж тем противник смертной казни.

Что – есть жестокость и жестокость?

Что – милосердие, по-вашему, спасет мир?

Заказные убийства, о которых беспрерывно сообщают средства массовой информации, похищение журналистов, аресты. Как все это остановить? И возможно ли это?

Наше общество, наши сограждане так легко научились убивать. Или не разучивались? Это вселенский порок?

Трудные вопросы вы мне задаете, я совсем не уверен, что знаю все ответы, даже в старости не все понимаешь и не все можешь объяснить. И никаких оригинальных советов я дать не могу, их у меня нет.

Действительно, преступления самого разного толка захлестнули нашу страну, с сообщений о них начинаются и заканчиваются все хроники: мафиозные разборки, террористические акты, заказные убийства, похищения людей – журналистов, строителей, военных. Даже детей с целью выкупа! Не верится, что все это происходит у нас, в нашей законопослушной стране. Раньше мы обо всем об этом слышали лишь по зарубежному радио или видели в зарубежном кино. Это были их нравы, и мы удовлетворенно осуждали их, гордясь своим превосходством.

Теперь все это внедрилось в нашу повседневность и заняло в ней довольно прочное место.

Как с этим бороться? Огнем и мечом? Наказанием и жестокостью в ответ на жестокость? Вооружаться самим, чтобы защитить себя и свою семью, или требовать от властей карательных акций?

Убежден – все это не поможет. Можно обезвредить и наказать одного-двух, десять преступников. Ситуация от этого не изменится.

На самом деле, как бы наивно это ни звучало, искоренить зло можно лишь в том случае, если каждый станет добрее, лучше, чище. Это очень непростая задача. Но никаких других путей изменить наше общество и нашу жизнь нет.

Не страшно ли вам сегодня, здесь? Или вы смотрите на все на это оптимистически? Что вы, человек, умудренный таким опытом, думаете о сегодняшнем дне России и о ее завтрашнем дне? Как вы себя чувствуете здесь, сегодня – уютно вам, комфортно, тревожно, тяжело, вам хочется убежать и спрятаться или, наоборот, досмотреть все это до конца?

Мне не страшно, я уже ничего не боюсь. Мне грустно, мне стыдно от осознания того, что я живу в глубоко безнравственном обществе, утратившем основные нравственные постулаты, главные из которых: не убий, не укради.

Но я тем не менее верю, что все изменится к лучшему. Правда, я до этого не доживу.

Я по образованию историк, и по призванию историк, знаю историю других стран и народов, знаю, какие трудные, трагичные периоды они переживали и к какому расцвету в результате пришли. Весь вопрос – во времени: сколь затяжным окажется этот период выздоровления нашего общества. Но оно выздоровеет. Я в этом не сомневаюсь.

На чем зиждется ваша уверенность? Что позволяет вам думать, что наш народ выберется из этой ямы, а не зароется в нее еще глубже?

Народ с таким потенциалом (я имею в виду все народы, живущие в России) – с таким интеллектом, характером, способностями, народ-труженик, подаривший миру столько великих личностей, не может не стать по-настоящему великим, без пошлых газетных преувеличений. И истинно-демократическое общество у нас будет. И будущее России мне видится не только светлым, но и славным.

То есть наши с вами сограждане вам все же больше нравятся, чем не нравятся?

Сограждане – слишком общее понятие. Есть сограждане, которых я глубоко презираю, но есть и такие, которыми горжусь, даже из современников – яркие, значительные личности. Дмитрий Сергеевич Лихачев, Андрей Дмитриевич Сахаров, например.

Но ведь сограждане наши должны выкарабкиваться из ямы все вместе, а не только те, которые вам не нравятся, или наоборот – те, которыми вы гордитесь. Вопрос лишь в том – будут ли они вместе выкарабкиваться, в одной связке?

Думаю, что да. Всегда были люди – маяки, люди – лидеры, будет происходить отбор – и позитивный, и негативный, будет происходить выбор.

А если одним нравится, ну, скажем, Гайдар, а другим – Баркашов, то как же они вместе пойдут?

В истории цивилизации всегда были тупиковые направления, бесперспективные. Баркашовцы – это как раз такой случай.

Но чтобы убедиться в этом, те, которые выберут Баркашова, должны зайти в этот тупик. А потом они выберутся оттуда и кинутся догонять Гайдара?

Нет, они не кинутся догонять Гайдара. Они просто физически вымрут. Вот и все.

Значит, по-вашему, нечистые просто физически вымрут на своем долгом, в никуда ведущем несправедном пути, а праведники выживут? Вам этого хочется или вы истинно верите, что так будет?

О, Господи! Конечно, хочется. Иначе бы я не принимал никакого участия в общественной жизни, не выступал бы ни на каких собраниях, митингах, не писал бы публицистические статьи. Я бы сидел за своим письменным столом и писал свои книги. Не так уж много времени у меня осталось...

А что – пишется вам сегодня? Или этот безумный накал общественно-политических страстей мешает, отвлекает?

Не очень пишется. Конечно, отвлекает, конечно, мешает. Но это ведь и моя жизнь, и мне глубоко не безразлично будущее моей страны, которое она будет переживать без ме-

ня. Не безразлично. Поэтому, наверное, мой интерес к тому, что происходит в стране, не ограничивается чтением газет и просмотром теленовостей. Иного отношения к жизни у меня, я думаю, уже не будет.

Но я все-таки мечтаю написать две книги, я уже знаю, какие, многое из этих ненаписанных книг во мне уже живет.

Хватило бы времени и сил.

Начали мы с жестокости, а закончим все же милосердием: в чем, по-вашему, милосердие литератора?

Милосердие литератора, как, впрочем, и каждого человека, независимо от профессии, состоит, в конечном счете, в том, что заключено в самом этом понятии. Быть милосердным – значит и понимать, и сожалеть, и сострадать. Сострадание противостоит мести, а месть – всегда неправедна. И пусть кто-нибудь поспорит со мной об этом.

Вы готовы к спору с новым, подрастающим, другим поколением? Вы думаете, им интересны ваши размышления?

Не знаю, интересны ли им мои размышления, не уверен. Но это не исключает того, что я о них думаю, что они мне интересны, что я хочу их понять. И хочу верить, что новое поколение, те, кто уже завтра возьмет на себя ответственность за будущее страны, изберет для себя другой путь и придет к высшим духовным и нравственным ценностям не через террор и убийства, лагеря и тюрьмы, не через насилие, которое не несет в себе никакого созидательного и очищающего начала – только разрушение и распад. Для меня это еще очень важно, как для литератора многие годы своей жизни отдавшего литературе для детей, юношества. Я верю, что на правильный путь нашу страну выведут не те, кто сегодня заседает в парламенте и других высших властных структурах, а те, кто сегодня учится читать, а завтра пойдет в школу.

Найти этот путь не трудно, ведь есть доступный каждому источник, общее наше богатство – великая русская литература. Есть мировая культура – все, что накопило человечество разумом, духом, талантом. Этого богатства хватит на всех.

Беседа
**«ИСТОРИЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ
ЗЛОПАМЯТНОЙ»**, 1998 г.

В нашей стране принято отмечать всякие даты – День Победы, День независимости, День солидарности, даже День Парижской коммуны был отмечен в календаре. Праздники. Но есть и страшные даты – например, 60 лет 37-му году, одному из самых трагических лет в истории Страны Советов, положившему начало долгим годам сталинского террора. 60 лет прошло. Из них долгие годы вы провели в ГУЛАГе. Если бы отмечался этот черный юбилей, что сказали бы вы, обращаясь к согражданам: не только к сверстникам и их детям, в жизни которых жестоко аукнулись эти годы, не только к тем, кто жил тогда, а сегодня требует возврата к репрессиям, но и к сегодняшней молодежи, для которой эти события – древнейшая история? И все наши всхлипы – пустой звук. Не понимают они этого, им не больно. И не страшно.

Человеку свойственно забывать плохое, о нем хочется забыть. Есть даже русская поговорка: «Тело заплывчиво, а дело забывчиво». Довольно страшно звучит.

Разве можно вычеркнуть из памяти 21 миллион человек, расстрелянных, уничтоженных или бесследно пропавших в бесчисленных лагерях ГУЛАГа, в тюремных камерах и на этапах. А 10 миллионов раскулаченных и сосланных крестьян. Миллионы невинно загубленных человеческих жизней! И еще десятки миллионов, не вернувшихся с войны, к которым с прискорбием нужно прибавить жертвы афганской войны и той, которая идет сейчас в Чечне.

В России привыкли к тому, что люди уходят и не возвращаются. Уходят навсегда. Не естественным путем, а насиль-

ственным. Сообщения о разного рода убийствах вошли в нашу жизнь как прогноз погоды. И к этому привыкли. И смирились, будто есть что-то более ценное, чем жизнь человека.

Конечно, юноши и девушки, вступающие в жизнь, сегодняшние школьники воспринимают то, что происходило 60, 50 или 40 лет назад как древнюю историю. И Сталин им так же далек, как Иван Грозный, Ежов и Берия – вроде Малюты Скуратова, а сталинщина – как опричнина. Это естественно, молодость устремлена в будущее. Они изучают историю, но не переживают ее и не делают никаких выводов из прошлого. И в этом их нельзя обвинять.

На мой взгляд, весь трагизм истории нашего государства заключается в том, что она не стала историей. То есть не канула навсегда как крестовые походы или костры инквизиции. Наше прошлое не стало прошлым. Оно живет в настоящем. Ведь живы еще те многие, кого Сталин сделал своими «подельниками», – стукачи, следователи, конвоиры, палачи и их подручные, которые придумывали изуверские пытки, закапывали трупы или шили кляпы для осужденных на смертную казнь.

Это они сегодня ходят на свои жалкие демонстрации с портретами Сталина и мечтают о возврате к прежней жизни. Власть над человеком – их Бог. Если не верховная власть, то власть силы. Не только пуля в затылок, но и донос, а иногда и просто молчание решали судьбу человека, подписывали ему приговор. Вспомним Галича: «Промолчи – попадешь в палачи...»

Они хотят возврата.

И никто, ни один из той банды палачей и их пособников, никто не умер от угрызений совести, не сошел с ума, не покончил жизнь самоубийством, не выступил письменно или устно с покаянием за свои злодеяния. Никто не покался! Более того, – они живут и пользуются благами, как ветераны труда или инвалиды, как простые труженики, не причастные к преступлению, они требуют поощрения за свои «заслуги», и государство поощряет их.

В этой связи такой вопрос: как бы вы поступили, если бы к вам на Комиссию поступило бы прошение о помиловании, скажем, Н.И. Ежова, приговоренного к смертной казни?

Я бы принял решение – расстрелять. И это не противоречило бы моим принципам. В этом случае речь идет о преступлении против человечности, а не против личности. Это качественно другое преступление. Я радуюсь тому, что 4 июня этого года Верховный суд отказал дочери Н. И. Ежова в ее иске о реабилитации отца. Да, радуюсь. И не мстить руководит мною. А элементарная справедливость. И формулировка суда мне понравилась: «Реабилитации не подлежит». Конечно, не подлежит. Был расстрелян за несовершенные преступления? Обвинения в шпионаже и попытке диверсии были сфабрикованы? А сколько миллионов безвинных жертв расстреляны по его, Ежова, повелению по им и его пособниками сфабрикованным делам. Да, он изобрел машину смерти, которая работала безостановочно и в конце концов уничтожила его самого. Что ж, может быть, в этом и проявилась историческая справедливость.

Хотя я противник суда истории над сталинскими преступниками и в первую очередь над ним самим. Они все хотели бы этого – время рассудит, история расставит акценты. Они боятся суда уголовного. А меж тем нужен суд, равнозначный Нюрнбергскому процессу, который признает преступным весь руководящий состав КПСС, КГБ в годы сталинского террора и разоблачит сущность и опасность для всего мира любого тоталитарного режима.

А так, конечно, и сын Берии, и дети других преступников будут подавать иски и прошения. Никто не может им запретить любить своих родителей, даже если они были палачами и убийцами, это их право. Но нам-то всем какое дело до того, что Берия, к примеру, был хорошим отцом? Абсолютно никакого. Берия преступник, и его деяния не могут быть прощены никогда. Для таких преступлений не существует давности

лет. И забвения быть не должно. А что действовали не по своей воле, все понимали, но вынуждены были выполнять приказ, боялись за судьбу своих детей (об этом часто говорят дети палачей разных мастей) – это дело их совести. Они брали свой путь, и суд должен быть – по делам их.

«История должна быть злопамятной» – написал Карамзин в «Истории государства Российского». Я понимаю это так – нужно помнить зло, чтобы оно никогда не повторилось. Во имя того, что было, – помнить, в память о тех, кто погиб, пострадал. Помнить зло во имя добра.

Да, безусловно, прав был тишайший и добрейший Николай Павлович: все, что угодно – только не забвение. Это самое безнравственное, что может совершить общество, и это не позволит ему возродиться никогда.

И потому мне бесконечно дороги слова губернатора Магаданской области Виктора Михайлова, сказанные им на открытии колымского памятника жертвам сталинских репрессий «Маска скорби» замечательного скульптора Эрнста Неизвестного. Михайлов сказал, что колымчане, магаданская земля помнят, и всегда будут помнить всех заключенных, кто подневольным каторжным трудом осваивал лагерные рудники, чьи кости покоятся в этой земле, чьей кровью она полита, кто выстоял здесь вопреки всему, не сломался.

Эти слова молодого губернатора и сам мемориал жертвам сталинских лагерей вселяют в меня, старого зека, надежду на то, что страшное прошлое никогда не вернется, как бы ни хотелось этого бывшим гебистам и нынешним неосталинистам.

«Маска скорби» Эрнста Неизвестного – лик человека, прошедшего ад на земле. Лик этот страшен, но нынешнее поколение должно было его увидеть. Такой страх может стать предупреждением, и очищение возможно через такой страх.

Прошло сорок лет, прежде чем идея такого мемориала воплотилась в реальность. Ведь первые разговоры о необходимости воздвигнуть памятник жертвам сталинизма, насколько мне известно, начались еще в середине пятидесятых? Как неспешны мы, отдавая долг, восстанавливая память. И предостеречь не спешим. И монумент ведь поставили не в центре столицы, а на Колыме.

Да, понадобилось сорок лет, чтобы воплотить эту идею, которая возникла в 1956 году, когда в наш обиход вошло слово «реабилитация», чаще всего с добавлением «по-смертная», когда стали возвращаться чудом уцелевшие в этом аду. Тогда же не только зародилась эта мечта – установить памятник жертвам страшного, небывалого геноцида, открыть музей, издать подробную и полную историю тех лет, – но и деньги собирали, добровольные пожертвования, и, как мне помнится, собрали вполне приличную по тем временам сумму, и выставка проектов памятника была организована, и жюри работало. Куда все это провалилось? Почему не случилось тогда? Это наша вина. Не сумели, не захотели, сил не хватило довести до конца.

Лишь энтузиасты и подвижники, работающие в сахаровском «Мемориале», дотошно и скрупулезно копаются в архивах, куда возможно попасть, находят документы и издают их, и выставки устраивают. Но это энтузиасты, люди, у которых совесть болит за всех, в том числе и за государство, которое должно было исполнить все, как акт покаяния. Музей памяти жертв сталинского геноцида мог бы стать шагом на пути к покаянию. И предупреждением. И знаком того, что общество этого никогда больше не допустит.

Но пока ничего этого нет. И восстановлен Храм Христа Спасителя, и построен большой и безликий мемориальный комплекс на Поклонной горе. Может быть, все это тоже не плохо и кому-то нужно, не берусь судить. Но мою душу греет и как-то примиряет с беспамятным нашим временем не-

большой соловецкий камень на Лубянской площади, вокруг которого собираются поздним осенним днем 30 октября в любую погоду люди, у которых болит душа не только по своим погибшим, но и за преступление, за которое мы все в ответе. Их слова и слезы, и памятные свечи, и цветы – не показное, не декларированное, истинное покаяние. Пока я жив, пока могу двигаться, я буду всегда с ними.

Да, прошло сорок лет, из них более десяти – самоотверженной, почти фанатичной работы талантливого скульптора Эрнста Неизвестного по осуществлению проекта памятника жертвам сталинского террора. Понадобились колоссальные усилия всех его единомышленников, которые хотели претворить этот проект в жизнь.

И вот «Маска скорби» с высоты сопки Крутой озирает колымские земли, принявшие прах миллионов безвинных жертв сталинского режима.

Наверное, не случайно первый такой монумент поставлен на одном из самых страшных островов ГУЛАГа – на Колыме. Колыма стала символом ГУЛАГа, и это действительно было кровавое место. Но у каждого узника сталинских лагерей была своя Колыма. Я никогда не бывал в колымских лагерях, долгие годы мне выпало осваивать другую часть ГУЛАГа – европейский север. Но не в географии, конечно, дело. У всех островов этого архипелага есть родовое сходство: если бы лагерь располагался на Южном берегу Крыма, он все равно, полагаю, мало чем отличался бы от колымских, карагандинских и других разных по устройству и названию лагерей. Суть была одна – все они были лагерями уничтожения. Это составляло основу коварного античеловеческого замысла Главного Палача: «сменяемость» контингента просчитывалась, планировалась заранее. Нам еще предстоит раскрыть тайну этой страшной бухгалтерии, узнать подробности, хранящиеся в секретных и сверхсекретных документах, отчетах, в докладных записках старательных и трусливых гулаговских исполнителей всех рангов.

Хотелось бы, чтобы интерес к этому проявляли не только те, в чьей судьбе отозвались эти события, но и те, кто сегодня изучает историю страны не формально, а пытаясь разобраться во всем и сделать свои выводы. Вы в это верите?

Да, я верю, иначе бы, наверное, меня уже не было в живых. Я верю, что лучшие представители молодого поколения, его лидеры, сделают правильные выводы из истории нашей страны, и найдут для нее единственно верный путь. И до этой новой эпохи мне бы очень хотелось дожить. А теперь – тем более, ведь совсем немного не лет даже, а дней осталось до нового тысячелетия.

Мне хотелось бы дожить до этой черты, но даже если так не случится, я убежден, что все изменится к лучшему. И истинно демократическое общество у нас будет, и народ будет жить достойно, и дети и внуки будут любить свою страну и преумножать ее богатства. Будут. Но для этого мы все должны что-то делать, каждый – что может.

Иначе будет поздно. И общество наше закоснеет в моральной своей неполноценности. Навсегда.

А сегодня?

А сегодня меня удручает, что общество наше не понимает той опасности, которая сейчас существует. Многим нашим согражданам по-прежнему нравится авторитарное государство, – чтобы было, кому стукнуть кулаком, покарать, посадить. Твердая власть.

Они забыли, что это такое. Забыли, не знают или не хотят думать о том, что авторитарное государство неизбежно перерождается в тоталитарное. Так было всегда, так происходит и в наши дни. Мы это, к сожалению, видим на примере Белоруссии. Там еще сохранились какие-то обломки демократии, еще не арестовали Василя Быкова и Светлану Алексиевич, но уже неоднократно оказывались за ре-

шеткой теле- и радиожурналисты, правозащитники, инакомыслящие.

От «посадить» до «расстрелять» – один шаг. Мы не можем, мы не должны допустить повторения уже однажды пережитого нами кошмара.

В чем все-таки видите вы причину такой забывчивости и неразумности нашего народа, который ну никак не желает учиться на собственных ошибках – и личностных, и исторических?

Мы уже говорили о том, что наши сограждане легко научились убивать и легко относиться к смерти. Я часто думаю о том – не потому ли это происходит, что не был наказан никто из прежних убийц-палачей, начиная с самых главных заправил этой бойни до никому не известных женщин, шивших кляпы. Ну, этих женщин, возможно, и найти трудно, да и вряд ли нужно. Хотя наши доблестные чекисты на протяжении десятков лет искали и находили тех, кто во время войны служил в зондеркомандах, и помогал немецким фашистам расстреливать советских людей. Тех находили, как бы они ни прятались, ни запутывали следы, ни меняли свое обличье. А своих пособников – ни одного не нашли! И тысячи палачей-извергов разных рангов и разной степени служебного рвения, – кто за совесть старался, а кто и за страх, – остались неизвестными и безнаказанными. Дело в том, что их просто-напросто никто и не собирался разыскивать.

Вот где, на мой взгляд, таятся корни сегодняшней жестокости, безнравственности, а порой и откровенного цинизма.

Всякое преступление должно быть раскрыто, а всякий преступник наказан. Цивилизованное государство обязано защищать своих граждан, охранять их. Нашу новую власть много и справедливо ругают. И, тем не менее, свою главную задачу она выполнила: и в 91-м, и в 93-м годах действующий президент России Борис Николаевич

Ельцин сумел предотвратить кровавый шабаш, отстоять нашу хрупкую демократию.

Сейчас рано говорить о том, кто станет следующим президентом России. Но кто бы им ни оказался – Лужков или Немцов, Лебедь или Явлинский, или, скорее всего, кто-то другой, кого мы еще не знаем, – его святой обязанностью будет защитить то, что такой ценой завоевано: права человека, свобода печати, демократические формы правления.

Есть страны, чья история была помягче, – там свобода органична как воздух, ее просто не замечают. Российская демократия, к сожалению, пока нуждается в сильных защитниках. И не только нынешнему, но и будущему лидеру России должна быть по плечу очень нелегкая задача, возложенная на него суровой историей нашей страны.

Из цикла бесед
**«ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПРОГНОЗЫ
НЕПОЛИТИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРТА», 1995–1999 гг.**

Лев Эммануилович думал, переживал, пытался понять, что происходит с нашей страной, с нами со всеми. И мечтал о светлом будущем.

Не машинально, не по привычке, не из любопытства читал почти до последнего дня газеты, не пропускал ни одну новостную программу телевидения.

Он выступал на всех демократических митингах и собраниях интеллигенции, в 90 лет мог три часа просидеть в зале для того, чтобы на пять минут выйти на сцену и поделиться своими мыслями.

Мы сделали с ним множество коротких бесед-откликов на разные события в буче последних лет, он никогда не отказывался выступить на радио или телевидении.

Не популярности ради, – она у него уже была, не даром же все к нему обращались как к патриарху, к мудрецу. Он размышлял, мечтал, предостерегал.

Своей мудростью, спокойствием, незлобивостью, своими сомнениями даже он всем внушал доверие и надежду.

Фрагменты таких размышлений разных лет, думается мне, будут интересны читателю и сегодня, и завтра.

Намеренно не ставлю даты под каждым фрагментом, не убираю повторы, фамилии. Не в конкретных именах суть, они лишь знаки времени. Не допустить возврата к прошлому, к диктатуре страха и подавления, думать о будущем страны, как о своем будущем, не позволить вновь насилию возобладать над цивилизованными нормами взаимодействия государства

и гражданина – вот ключевые мысли, болевые точки всех размышлений. Он снова и снова говорил об одном и том же, чтобы предупредить, предостеречь, заставить задуматься. Лев Эммануилович мог бы сказать это и накануне последних президентских выборов, до которых не дожил, и сегодня.

Еще ничего не изменилось в нашем обществе, еще по-прежнему остро и своевременно звучат его слова.

7 ноября 1995 года по телевизору показывали демонстрацию – тысячи людей (да, их было несколько тысяч) с красными знаменами, с портретами Сталина веселились, пели и плясали – праздновали. Я глядел на них с ужасом.

В массе своей это были немолодые люди. Допустим, часть из них – бывшие мелкие чиновники райкомов, райсоветов, бывшие гебисты, какой-то другой номенклатурный люд, пользовавшийся пусть ничтожными, но все же привилегиями в годы советской власти. Но наверняка среди них были и простые служащие, и рабочие, и инженеры, может быть, даже врачи и педагоги.

Неужели, думал я, они всё забыли, помнят только то, что можно было купить на маленькую зарплату в магазинах с весьма убогим ассортиментом товаров. Неужели они забыли цену, которую мы все заплатили за это – не стоимость одного килограмма колбасы, а цену.

Да, плохое быстро забывается, о нем неприятно помнить, не хочется. Человеку свойственно мечтать и думать о хорошем. Но и память для чего-то дана человеку.

Разве можно забыть, вычеркнуть из памяти миллионы невинно загубленных человеческих жизней, даже если среди них нет близких тебе людей.

Разве можно не помнить собственный страх, боязнь доносов, тревожный визг тормозов под окнами, стук чужих

каблуков в гулкой тишине ночного подъезда. Ведь это было с нами со всеми. И не год, не два, а десятилетия.

Что празднуют эти люди с портретами Сталина и красными знаменами, чему радуются, чего ждут от сегодняшних коммунистов?

Смотрю на них и не понимаю, – какая наивность предполагать, что выполнимы те обещания, которые дают сегодняшние коммунисты и иже с ними, накануне выборов: снизить цены, усилить борьбу с преступностью, наладить и исправить все в разных областях жизни. Причем все сразу и к лучшему.

Неужели не ясно, что ничего этого они сделать не смогут без главного своего оружия – пыточных подвалов Лубянки и колючей проволоки лагерей. Только насилие – основной механизм, с помощью которого будут пытаться они проводить в жизнь свои программы. Но насилие не может быть орудием созидания, ничего конструктивного, позитивного нельзя создать, опираясь на насилие. Ведь не удалось это им, несмотря на годы террора. А никакого другого аппарата и никакой другой стратегии у них нет – только этот, десятилетиями отлаженный и не позабытый ими прием. Правда, то, что создавалось в течение 70 лет, вся громоздкая машина принуждения и подавления, довольно основательно разрушена за последние годы, к сожалению, не до конца. Но все же восстановить ее в мгновение ока коммунистам не удастся.

И пусть никто не обманывает себя тем, что можно произвести сколь-нибудь серьезные изменения в экономике нашей страны и в нашей жизни вообще в том направлении, которое нам указывают Зюганов и его единомышленники, не применив старые и хорошо известные нам методы запугивания, принуждения и подавления личности. Такими методами ничего исправить нельзя. Мы через это уже прошли. Этот путь – тупиковый.

Надо помнить, что насилие обладает одним страшным свойством – оно распространяется как эпидемия.

Стоит лишь начать, начать с малого, а дальше покатится неукротимо.

Как человек, который прожил очень долгую жизнь и все это не только видел, но и испытал, хочу сказать тем, кто будет участвовать в выборах: давайте ничего не будем забывать, давайте думать не только о себе, давайте думать о своих детях, внуках, о нашем будущем.

В конечном счете, речь идет о нашем спасении, о спасении России. От нашего с вами выбора будет зависеть очень многое.

Да, жизнь сегодня трудная – нет денег, непрерывно растут цены, появилась безработица, растет преступность. Но есть у нас сегодня одно достояние, которого не было никогда, несмотря ни на какие декреты и лозунги советской власти – свобода. Свобода от страха, свобода говорить, читать, смотреть и слушать то, что нам хочется. Мы перестали опасливо озиаться по сторонам – не подслушивают ли, не подсматривают ли. Без этой свободы, на мой взгляд, жизнь человека вообще мало чего стоит.

Что касается экономики, то здесь мы тоже на правильном пути, просто первые шаги не очень заметны, потому что путь долгий. Никому, ни одной стране не удалось перестроить свою экономику в мгновение ока, на это уходили годы. России труднее, чем другим странам, по многим причинам – мы движемся от экономической катастрофы не к расцвету пока еще, а к стабильности. Результат этого движения тоже зависит от нас – не от президента и правительства, не от других институтов власти, а от каждого из нас – каков будет его вклад в общее дело.

Мало просто мечтать о хорошей жизни, надо всем сообща ее строить. Другого пути нет.

Почему-то когда мы говорим, что надо искоренить преступность, изменить что-то в нашей жизни, бороться со злом, – мы имеем в виду, что это будет делать кто-то другой, не мы. На самом деле искоренить зло можно лишь в том случае, если каждый станет добрее. Я часто

повторяю эту прописную истину, и, наверное, это звучит наивно. Но никаких других способов изменить наше общество и нашу жизнь не существует.

Если мы с вами граждане своей страны, то все это наше дело, наша забота, наши проблемы. И давайте не будем перекладывать их на другие плечи.

* * *

Я не политический эксперт, не аналитик, не люблю гадать и делать прогнозы. Я просто-напросто не верю в победу коммунистов на предстоящих президентских выборах.

По-моему вовсе не следует ставить знак равенства между прошедшими парламентскими выборами и будущими президентскими, ибо известно, что выборы президента, в отличие от парламентских, носят все же более персональный, а не партийный характер.

Я вообще считаю, что средства массовой информации явно преувеличивают успех Зюганова в предвыборном марафоне. По-моему весьма опрометчиво считать, что электорат Зюганова и он сам как личность, и руководство его партии обладают такой мощной силой, которая обеспечит ему победу на выборах.

Более того, по сути, предвыборная компания только начинается. Сегодняшний лидер коммунистов начал ее раньше и, может быть, резвее других. Но настоящая предвыборная борьба, в которой, вероятнее всего, будут противостоять Зюганов, как кандидат от коммунистов и националистов всех мастей, и единый кандидат от всех демократических, истинно патриотических сил, которым дорога судьба России, — эта борьба еще впереди.

Я полагаю и очень надеюсь, что единым кандидатом от демократического блока станет наш нынешний президент Борис Николаевич Ельцин, ибо не вижу сегодня другого лидера, вокруг которого могли бы, отбросив наконец все

амбиции и прочие, несущественные личностные, корыстные мотивы, объединиться все подлинно демократические силы России, чтобы общими усилиями не дать вновь раскрутиться страшному «красному колесу».

Повторяю – я не верю в победу коммунистов, для меня лично, пережившего 70 лет жесточайшей диктатуры со всеми, как говорят, вытекающими отсюда последствиями, – это категорически неприемлемо.

И не только для меня и всех свидетелей и участников тех событий – намерениям коммунистов победить на предстоящих выборах противостоит огромное число людей, которые стали собственниками и с этой собственностью не пожелают расстаться, противостоит этому сегодня и та новая экономика, которая, пусть еще в зачаточном состоянии, но создана и действует. Кроме того, гласность – штука очень привлекательная, и захочет ли общество с ней расстаться – еще вопрос.

Да, конечно, все это важно для наиболее активной части населения. Если говорить о тех, кто растерялся и от страха забился в угол от всех перемен, – их не волнует ни свобода, ни гласность, но и все остальное не волнует тоже: предвыборная борьба, программы, платформы, лидеры с их обещаниями, да и сами выборы.

Зато сегодня уже не только интеллигенция говорит о свободе, о гласности. Нет, изменилось сознание многих миллионов людей, которые занимаются средним и мелким бизнесом, предпринимательством и ремесленничеством, они хотят жить не просто нормально – хорошо. Для них свобода – уже стала насущной необходимостью. И их не обманешь обветшалыми коммунистическими лозунгами. Это еще одна, новая, сила, которая противостоит победе коммунистов, и я надеюсь, сделает все, чтобы эту победу не допустить.

Кроме того, нынешняя ситуация в России резко отличается от той, которая была в 1929 году, когда набрала силу тоталитарная большевистская система. Ведь даже в тех ус-

ловиях, когда народ фактически был застигнут врасплох, происходили и крестьянские бунты, и Кронштадтский мятеж, да по сути дела необъявленная гражданская война против большевиков после октябрьской революции шла по всей стране. Это в тех условиях, когда население страны было запугано, в большинстве своем малограмотно, не существовало свободной прессы и свободного общественного мнения.

Тем более нет никаких оснований думать, что большевистские мероприятия могут легко и безболезненно пройти сейчас.

Да и что они могут сделать? Совершенно очевидно, что за четыре года, отпущенных президенту, ни один человек не сумеет, будь он даже семи пядей во лбу (чего я не могу сказать о Зюганове), коренным образом изменить наше сегодняшнее общество – ни его экономическую структуру, ни политическую.

Чтобы создать жесткую тоталитарную систему, большевикам понадобились годы. За последнее десятилетие мы ее основательно разрушили. Я полагаю, что ни у будущего президента-коммуниста, коли такое случится, ни у прокоммунистической Думы нет никаких сил и механизмов, чтобы восстановить ее.

Совершенно очевидно, что в миг единый не запустится вся годами отлаженная система запугивания, подавления и принуждения личности, не заработают исправно и слаженно райкомы, обкомы, Лубянка с ее пыточными подвалами и все прочие большие и малые звенья этого механизма.

Поэтому наивно полагать, что выполнимы те обещания, которые дают сегодняшние коммунисты накануне выборов. Я с сожалением и горечью смотрю на все реденеющие ряды участников коммунистических митингов, на пожилых людей с красными знаменами и портретами великих вождей. Ладно, молодежь, поддерживающая коммунистов в необъяснимом каком-то порыве, она может по невежеству своему ни-

чего не знать о прошлом страны. Но пожилым людям, прожившим при коммунистах, неужели не ясно, что те ничего сделать не смогут без главного своего оружия – насилия и террора. Оглянитесь назад, хочется мне сказать этим людям, – мы с вами все это уже пережили.

И потому очевидно, что заведомо обречены на провал и их программа-минимум, обещающая снизить цены, побороть преступность, наладить и исправить все в разных областях жизни, причем все сразу и – к лучшему; и тем паче, более откровенная программа-максимум, предполагающая и смену общественно-политического строя, и борьбу с инакомыслием, и национализацию, и введение цензуры, и даже реформу русского языка.

Какие все знакомые слова.

Но история доказала, и мы с вами это видим – ничего конструктивного нельзя создать, опираясь на насилие. Я уже говорил не раз, что насилие, уничтожение собственного народа никогда, ни при каких условиях, ни во имя самой великой цели не могут быть орудием созидания.

Я вообще думаю, что успех коммунистов на парламентских выборах меньше всего принадлежит им.

Большинство из тех, кто поддержал их, по существу голосуют не «за», а «против», потому что им сегодня трудно жить. Они голосуют не за коммунистов, а против низкой пенсии, задержки в выплате зарплаты, нестабильности в обществе. Это те, кто не сориентировался в сегодняшних экономических условиях, не могут перестроиться, научиться жить по-новому. Им страшно.

И по инерции они надеются, что при коммунистической власти все, если и не изменится к лучшему, то вернется к понятному. Это главная опасность для Зюганова: в случае его победы их гнев обернется против него, причем еще круче, резче, нетерпимее, потому что рухнет их последняя надежда. Ведь недееспособность свою коммунисты продемонстрируют мгновенно.

Да и не собираются они выполнять никакие свои обе-

щания, – они просто рвутся к власти, потому что без власти они – ничто.

Совсем другое положение в предвыборной борьбе у президента Ельцина. Во всех отношениях преимущество его перед другими кандидатами абсолютно очевидно.

На мой взгляд, самое главное препятствие на пути Ельцина к победе на президентских выборах, его беда, его вина, его ахиллесова пята – это война в Чечне. Найти выход из этого затянувшегося кризиса, прекратить страшную игру со смертоносным оружием в руках – это главная задача президента, если он хочет победить на выборах. Как это сделать – решить должен президент. Тут трудно предлагать какие-то рецепты.

Хотя есть, по-моему, радикальное решение этой проблемы – это то, что сделал Шарль де Голль в отношении Алжира, – дать самостоятельность Чечне, пусть они живут, как хотят. В конце концов Россия не потерпела краха, даже когда от нее отделились все Прибалтийские республики.

Может быть, я не прав, многие мои друзья и единомышленники категорические противники такого подхода. Может быть, президент найдет другое решение, другой способ урегулировать этот конфликт, прекратить войну, но сделать это необходимо. И это наверняка приблизит его победу, потому что добавит ему огромное количество избирателей. Ведь в скорейшем решении этой проблемы заинтересованы не только правозащитники, прогрессивные политические и общественные деятели России, но, может быть, прежде всего, люди, ввергнутые в пучину этого затянувшегося военного конфликта с той и с другой стороны, – сами участники и родственники тех, кто ежедневно гибнет там сегодня и может погибнуть завтра.

Такой видится мне ситуация в стране в канун президентских выборов. Я категорически не верю в победу коммунистов, потому что у коммунистов в России нет будущего. И у России при коммунистическом правлении нет будущего.

Это они привели нас к краю пропасти, еще один шаг на этом пути окажется последним. Случится ли это, – зависит от каждого из нас. На самом деле надо всем сообща, удержавшись на краю, не оглядываясь назад, строить для себя новую жизнь.

* * *

Перед первым туром президентских выборов и задолго до этого, когда ко мне обращались с просьбой дать прогноз на будущее, я неизменно отвечал – президентом России сегодня должен остаться Борис Николаевич Ельцин.

Это не прогноз – это констатация очевидного. Есть, мне кажется, неоспоримые аргументы в его пользу: Ельцин не исчерпал свой потенциал, он подвижен, способен на решительные действия, он не на словах, а на деле несет ответственность за все, что происходит в стране, и, несмотря на все трудности и неизбежные ошибки, верен политике реформ.

Последний его рывок от предварительных 6% по рейтингу претендентов в январе этого года до 35% на первом туре выборов в июне – это, мне кажется, беспрецедентное событие.

Мы увидели прежнего Ельцина – активного, энергичного, помолодевшего, с живой речью, проявившего не только желание, но и умение общаться с людьми, серьезно и с юмором, и главное – умно и целенаправленно: против коммунистической демагогии, несущей в себе угрозу возврата к замшелому, страшному, нищему прошлому.

Мне кажется, что президент оправдал сегодня надежды тех, кто верил, что именно он будет единственным лидером в сегодняшнем противостоянии двух миров: старого и нового.

Но надо сказать, что и коммунисты ничем не удивили меня: они остались верны себе во всем. С самых первых предвыборных шагов началась нечистая игра – какие-то подвохи, фальсификации, тайные заседания, давление на

людей, вплоть до увольнения с работы, если отказываются поддерживать коммунистов, попытки купить избирателей за бутылку водки. В общем, все те же методы, которыми десятилетиями пользовалась партийная номенклатура, чтобы добиться единогласных выборов всегда и везде.

И это, прежде всего, показывает, что ничуть они не изменились – ни в своих действиях, ни в своих помыслах, ни в бессовестном вранье, которым ничуть не гнушаются перед лицом народа, за чью судьбу так рьяно радуют.

Что же будет, если они снова придут к власти? Давайте посмотрим их программу – там и угроза частной собственности, вплоть до дач, квартир и земельных участков, и экономические санкции к банкам, и отмена загранпаспортов, чтобы снова их райкомы решали, кому можно ехать, а кому нельзя.

Ничего нового – все хотят повернуть вспять. И, разумеется, грозят расправой всем честным людям, кто так или иначе противостоит им, мешает, не желает возврата к прошлому коммунистическому «благоденствию», к диктатуре.

Совершенно очевидно, по-моему, что и способы ведения коммунистами предвыборной компании, и их программа свидетельствуют не только об их несостоятельности, но и о том, что они предчувствуют свое поражение, боятся его.

Отсюда и заигрывание с избирателями, когда одним обещают уничтожить частную собственность, другим – заявляют об отказе от ее ликвидации, одним клянутся в своей приверженности свободе слова, печати и волеизъявления народа, другим – в верности коммунистическим идеалам. Отсюда и невнятность программных лозунгов и обещаний. Отсюда и агрессивность, и злоба.

Мне думается, что президент Ельцин победил коммунистов психологически. Он шел на эти выборы как победитель и сумел внушить это и избирателям, и своим политическим противникам. И это правильная стратегия, потому что свобода и демократия в России должны победить.

Но успокаиваться рано. Не следует забывать, что коммунистов все же поддерживает немалая часть населения страны, – обманутые, заблуждающиеся, запутавшиеся в сложностях нынешней ситуации, те, кто не сумел освободиться от прошлого рабства, но голосует за новое.

Такие избиратели – главная надежда коммунистов, которые рассчитывают на инертность нашего народа. Поэтому никто не должен остаться в стороне, никто не должен отмахнуться от участия в выборах, мол, без меня обойдутся. Это неправильная позиция. Активность избирателей – залог победы демократии, а это для нас для всех важнее, чем отдых в летний воскресный день или сбор урожая на своем дачном участке.

Ведь мы решаем не судьбу претендентов на президентский пост, мы решаем судьбу своей страны, свою судьбу.

* * *

Пытаясь понять, почему наш народ тоскует по коммунизму, забыв и чудовищные репрессии, и страх, и убогое, почти нищенское существование, я прихожу к выводу, что главная болезнь огромного большинства нашего общества – отсутствие привычки к демократии.

По-видимому, должно пройти какое-то время, чтобы наши сограждане привыкли к тому, что сами выбирают свою судьбу, сами решают, каким путем идти, какое будущее они выбирают для своих детей.

И первое, что мы можем сделать на этом пути: сохранить и укрепить сегодняшнюю, законно избранную власть, пусть во многом еще не совершенную, но несущую в себе созидательное начало.

По-моему, совершенно очевидно, что на нормальный путь развития нельзя выйти из коммунистической диктатуры. Это абсолютно неприемлемый режим, человеческое сообщество его отторгает. Везде, во всех странах, где

когда-то торжествовала диктатура, были голод, повальные аресты, убийства, подавление личности, и жизнь, в конечном счете, приходила в упадок.

Социализм потерпел крах не только в нашей стране, в странах Восточной Европы, но и на Кубе, и в Индонезии. Значит, в нем не было объективной жизненной силы, значит, коммунистическая идея – искусственная идея. Коммунистический энтузиазм, как, впрочем, и любой другой – состояние недолговременное и не органичное человеку. Мы это хорошо помним: и стахановское движение, и все формы социалистического соревнования – все было типичной показухой. Внутри любой системы, основанной на диктатуре, на самом деле, все построено на подчинении насилию.

Вот почему, думая о будущем нашей страны, я, прежде всего, мечтаю о том, чтобы с ее политической карты исчезли все партии крайнего толка – национал-патриотические, фашистские и в первую очередь – коммунистическая партия. Я мало верю в то, что она сумеет или захочет приблизиться по сути своей к западным социал-демократическим партиям. Ведь наши коммунисты не захотели поменять даже название, что говорит об их приверженности коммунизму в том виде, в каком он им близок и понятен – жесткий тоталитарный режим. Это и вселяет беспокойство.

Если нам дорого будущее нашей страны, наших детей и внуков, мы не должны этого допустить.

* * *

Специфика президентских выборов в России сегодня в отличие от цивилизованных западных стран в том, что их исход может коренным образом изменить нынешнюю ситуацию, разрушить все демократические институты, которые хоть и далеки еще от совершенства, но все же созданы и работают. Поэтому обстановка в нашей стране сегодня мне представляется без преувеличения драматичной. Это не

нагнетание страха – это попытка трезво оценить обстоятельства и, по возможности, избежать непоправимых последствий непродуманного, сгоряча принятого решения.

Конечно, психология гражданина буржуазного государства складывалась столетиями. В России же царская власть резко сменилась коммунистической, произошли серьезные изменения ценой чудовищного количества жертв. Сейчас совершилось новое резкое переустройство нашего общества. Такого перехода, такой ломки не знала ни одна страна в мире. Попытка внедрить демократию и частную собственность в обществе, где все было уничтожено, выкорчевано с корнями, где в течение 70 лет царил жесткий казарменный режим – это уникальное явление. Такого не было ни в Испании Франко, ни в Германии, где частная собственность и частное предпринимательство сосуществовали с политической диктатурой, класс предпринимателей не был истреблен, как это произошло у нас после революции 1917 года.

Наши нынешние бизнесмены учатся на ходу, начинают все с нуля в обстановке нестабильности общества и экономики, когда нет ни правовой защиты, ни правового обеспечения. В таких обстоятельствах немудрено, что частное предпринимательство у нас сегодня имеет криминогенный оттенок: к легкой наживе потянулись прежде всего уголовные элементы.

Хотя, конечно, многие серьезные и талантливые в разных областях люди сделали ставку на демократию, на рыночную экономику, на этой основе построили свои деловые и личные планы. Это зачатки так называемого «третьего класса», на который и должна опираться демократия. В конце концов, и у нас уже целое поколение выросло на этой почве, поколение ровесников перестройки, те, кто выросл вместе с ней и с нашей молодой демократией – это их среда обитания, они другой не знают.

Поэтому я считаю, что мы сегодня должны извлечь какие-то уроки из прошлого, нельзя все время ломать и

строить заново. Так ничего нельзя построить. Давайте не крушить нашу, пусть не совершенную пока, пусть еще хрупкую, демократию. Давайте поможем ей стать созидательной и ответственной силой.

Избавиться от демократов легко. И свалить на них все наши беды, на их несостоятельность и безответственность. На самом деле это не так – у них просто не было, да, по сути, и нет никаких ни экономических, ни социальных опор. В этом одна из бед нашей демократии.

Но все же реформы идут, хоть и медленнее, чем нам хотелось бы, потому что повсеместно преодолевают с первых шагов и по сей день чудовищное сопротивление перекрасившейся партийной номенклатуры, засилье которой в аппаратах всех властных структур чрезвычайно затрудняет нормальное развитие нашего общества.

Есть, может быть, единственно правильный марксистский тезис: «Класс, находящийся у власти, добровольно ее не отдает». Коммунисты не составляют исключения. То, что они как бы добровольно пошли на резкую перемену строя, во-первых, говорит о том, что у них просто не было выбора, не было другого пути, они зашли в тупик, и, во-вторых, делает эту перемену весьма подозрительной. Несомненно, имеют под собой почву разговоры о «номенклатурной» приватизации. Правящая коммунистическая верхушка владела несметными богатствами, лишь пока в ее руках была сосредоточена вся власть. Теряя власть, они теряли все, ведь кроме жажды обогащения у них давно уже ничего нет за душой, свою идейную платформу они потеряли давно, где-то в начале своего несправедливого пути.

Вот почему возврат в коммунистическую действительность представляется мне крайне опасным. И неубедительными кажутся рассуждения о том, что нынешние коммунисты совсем не те, что прежние. Наши коммунисты всегда отличались от восточноевропейских – в них всегда преобладало разрушительное большевистское начало. Поэтому не исключено, что их победа ввергнет страну в

гражданскую войну, и это будет для нашего народа катастрофой. И уж несомненно, что в случае победы коммунистов нас ожидает террор, организованный сверху. Тут уж никаких не будет разговоров ни об уроках истории, ни о каких выводах и наиважнейших задачах.

Мне бы очень хотелось, чтобы те люди, которые придут на выборы, при всем критическом настрое к нынешнему президенту, к правительству, к недостаткам и тяготам жизни, проголосовали бы все же за созидательные идеи. Мне хотелось бы, чтобы каждый понял, что с победой коммунистов он лишится главного – возможности строить свою жизнь по своему, проявлять частную инициативу. А ведь именно творческое начало – коренное свойство человека, он так задуман природой, – как творец, созидатель.

Конечно, осознание этого каждым членом общества не произойдет в одночасье, нужно время, нужна стабильность в стране. Но только свободный, заинтересованный труд каждого человека, каждого гражданина – единственная возможность общими усилиями построить нормальное, развитое во всех отношениях демократическое государство.

* * *

Я часто думаю о том, что наш народ, наши сограждане сами виноваты в том, что политические лидеры России во все времена берут на себя роль отца нации, чуть ли не пророка, который якобы знает единственно верную дорогу для всех.

На самом деле это не так. Ведь политик – это профессия, такая же, как учитель или лекарь, или строитель, только суть этой профессии – в умении управлять государством. Государством, но не жизнью каждого человека.

Мы же до сих пор надеемся, что придет наконец такой правитель, который бы все проблемы решил за нас. Тут, наверное, проявляется какая-то психологическая особен-

ность россиян, которая вырабатывалась веками, – привычка к такой форме государственного устройства, когда все решает царь-батюшка или Генеральный секретарь, или вождь, или президент, как его ни назови. Отсюда и пассивное ожидание, что вот придет к власти человек, который всех накормит, уравнивает в правах и сделает счастливыми.

Но так не бывает. Мы этого пока не поняли, может быть, поэтому так напряженно, со страхом (в течение последних лет в особенности) ожидаем мы результатов любых выборов – президента, мэра или губернатора.

Демократия вообще предполагает совсем другой психологический настрой, другой тип мышления. Прежде всего, человек должен научиться выбирать. Выбор должен стать основой его бытия – не только выбор президента и губернатора, но и выбор работы, места жительства, магазина, в котором он будет покупать продукты и одежду. Но, с другой стороны, и государство должно быть так четко и разумно организовано, чтобы предоставить человеку все эти возможности.

Пока, к сожалению, это у нас не получается. Мы пока пребываем в промежуточном, переходном состоянии. Но мы должны к этому стремиться. Мы все.

Конечно, Россия – огромная страна, занимающая огромное пространство. В этом еще одна ее особенность, и еще одна проблема – такой страной трудно управлять. Это сказывалось во все времена. Может быть, поэтому Россия всегда впадала то в одну крайность, то в другую. Еще со времен Петра I. А апофеозом этого стала революция 1917 года и все последующие события. Такое шатание из крайности в крайность, мне кажется, не давало стране возможности спокойного постепенного развития, как это происходило во многих странах. Насилие вообще не конструктивно по своей сути, а любая крайность – это насилие.

Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы у нынешних наших лидеров, которые сегодня берут на себя ответственность за судьбу нашей страны, возобладало умение

принимать мудрые, взвешенные, хорошо продуманные решения с учетом всех специфических особенностей России – географических, национальных и прочих. Это несомненно поможет нам избежать многих конфликтных ситуаций и, прежде всего, вооруженных конфликтов и войн, которые в переходный период, в период реформ могут привести к непоправимым последствиям.

ГЛАВА 3

НОСТАЛЬГИЯ ПО УХОДЯЩЕМУ



Лев Разгон любил писательский поселок Переделкино. Причем это любовь особая – Лев Эммануилович говорил: «На нее покушались, ее пытались отнять у меня». Да, были годы, когда он возненавидел лес – не лес, а место принудительного труда лагерника, лесосеку. Тогда казалось, что эта ненависть навсегда: поселившись после первого срока в Ставрополье, он радовался, что его окружает ровная безлесная степь. Он говорил, что человек возненавидел бы и финиковые пальмы, если бы плантация под солнцем у моря была его каторжной деланкой.

Только гораздо позже, годы спустя, когда он с Рикой, женой и верным другом, начал снова ездить в Переделкино, еще не запущенное, живое – и белки прыгали по деревьям, и соловьи по утрам заливались, и рыбка в пруду ловилась, – он постепенно стал привыкать к лесу, который любил с детства. «Мое детство было очаровано лесами» – написал он в книге «Позавчера и сегодня».

Никому не удалось разрушить это очарование – он снова полюбил лес и ездил в Переделкино ежегодно, пока была жива Рика.

Летом юбилейного 1998-го, года его девяностолетия, мы сговаривались поехать в Переделкино вместе – одновременно. Мечтали о том, как будем прогуливаться по узким тенистым тропинкам нашего Дома творчества, от заросшего тиной прудика до колоннады «старого» корпуса и неспешно беседовать обо всем – о прошлом, о будущем, о любви, о доме, о его и моей Москве. Я предусмот-

рительно приготовила диктофон и блок запасных кассет, вспоминая, как сокрушаюсь всякий раз, выйдя из подъезда его дома, – опять ничего не записала, а он даже напевал еврейские песни, которые когда-то пела ему мама. А то – блатные. А то – анекдоты рассказывал. Или любимые стихи читал по памяти, хорошо читал.

Но нельзя же всегда ходить в гости к другу с подслушивающим устройством в кармане! Я и сейчас, когда его нет, все прекрасно помню – и голос его, и выражение лица, то углубленно задумчивое, то озаренное озорной мальчишеской улыбкой, и интонацию, и манеру как бы самому себе задавать вопрос и тут же на него отвечать. Видимо, так беседует сам с собою, так же и размышляет вслух, – не спеша, будто проверяя каждое слово. Не подбирая, чтобы не попасть впросак, а – прослушивая, чтобы не сфальшивить.

Тогда мне казалось, что я все его рассказы запомнила навсегда. Но я уже знаю, как это бывает: ушли из жизни мама и папа – и сразу образовалась дыра, бездонный провал. Нет, я помню все, что они рассказывали о себе, о своей любви, о своих братьях и сестрах, обо всех наших родственниках – но исчезли вдруг какие-то мелочи, штришки, не детали даже, а живая ткань: папин голос, его покашливание, мамин неожиданный вздох, ее смех до слез, неудержимый и заразительный. И что-то еще, неуловимое, без чего тускнеют отдельные звенья в цепи нашей памяти – и уже не вдохнуть в них жизнь. Не вернуть ушедшие мгновения.

И все же: наполненные любовью наши воспоминания – не просто свидетельство очевидца, не последовательность каких-то событий, не сухой факт, как в официальном протоколе. Это жизнь, ее продолжение, ее неудержимое движение вперед.

У меня столько вопросов накопилось к Разгону, и я задаю их ему, и, мне кажется, слышу ответы. И думаю – «мы с Разгоном закончили вторую главу». Я думаю – «мы», и это мне помогает.

А в Переделкине побывать одновременно нам так и не удалось. Разгон в то лето в Дом творчества не поехал. Им с Наташей, дочкой его, не потянуть было две путевки – слишком дорого обходится в последние годы писательская обитель.

Беседа
**«В ЗАЩИТУ
СЛОВА
“ПАТРИОТ”»,** 1993 г.

Столько случилось в вашей жизни событий, связанных с этой страной. Можете ли вы сказать о себе: «Я – патриот»?

«Слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают как платье...» Эти стихи Владимира Маяковского раньше знал каждый школьник.

Мне хочется сегодня, конечно, не «сиять заставить заново», а просто восстановить доброе имя слова «патриот». Земляк, соотечественник, человек, любящий свою родину, преданный своему народу. Что может быть прекраснее?

Давайте не будем обращать внимания на ту ржавчину, которой покрылось это слово в наши дни, обретя какой-то постыдный, враждебный смысл, скорее определяющий политическую ориентацию, чем отношение к родине.

Сказать сегодня о себе: я – патриот, все равно что заявить о своей партийной принадлежности. Причем, к сожалению, принадлежности не к нашей партии. То есть сегодня я знаю, что тот, кто называет себя патриотом, – не мой единомышленник.

И мне от этого грустно – это смешение понятий портит нашу жизнь.

Мне не стыдно, мне хочется сказать о себе – патриот, потому что я люблю свою родину. Люблю такой, какая она есть, – со всеми ее дикими, непоправимыми ошибками, которые роковым образом отозвались не только в моей судьбе, но в судьбах миллионов моих сограждан, с ее напряженным сегодняшним днем, тревожным, порой трудно постижимым, с ее неясным будущим, которое всегда виделось нам прекрасным. И сегодня я верю, что прекрасное, светлое будущее моей страны – не миф, не сказка, не ми-

раж на горизонте, который видится нам в бреду, а явь, которая наступит непременно. Я верю в это, потому что люблю свою родину.

Вы любите свою родину, но вас всегда влекли дальние странствия, путешествия, новые города. Свой первый город – Горки, вы, насколько я знаю, покинули без сожаления и никогда больше туда не вернулись. Это был детский порыв – вперед, в неизвестное или так было всегда – страсть к перемене мест?

Мною владела не страсть к перемене мест, а жадность к открытию нового, к познанию: увидеть, узнать. И – вернуться домой. Это прекрасно.

В Горки я не вернулся не по своей воле. После войны с немецкими фашистами этого города не стало, ни знакомых мне улиц и домов, ни близких мне людей – все было уничтожено. И я больше не возвращался туда, дал себе слово хранить все это в памяти. Кое-что мне удалось – я имею в виду книгу «Позавчера и сегодня».

Вообще география моей жизни разнообразна, потому что история страны влияла на судьбу моей семьи, на судьбу моих родных, на мою судьбу. Нас разметало по островам ГУЛАГа, нас забросило в такие края, куда никто из нас и не думал попасть. Но эта принудительная перемена, конечно, не принесла ничего хорошего, я не только разлюбил лес, который любил с раннего детства, я возненавидел его, и годы понадобились, чтобы любовь эта вернулась ко мне.

Но страсть к путешествиям жила во мне с ранних лет. Сначала по окрестностям Горок, что было невероятно увлекательно: открытие мира – первые открытия. Потом мысленно – вместе с героями любимых книг, и это тоже увлекало меня, я этим жил. Кстати, не только в детстве, но и в лагере. Потом, уже в старости, когда в Равенне я посидел на ступенях мраморного дворца, где когда-то сидел Байрон, я нисколько не удивился тому, что узнал этот дворец. Мне

всегда казалось, что я легко найду в далеких городах хорошо знакомые мне по книгам места. И, действительно, это узнавание было прекрасным.

Переезд в Касимов был первым грандиозным событием в моей жизни, первым дальним странствием. Тогда же я впервые услышал песню «По морям, по волнам, нынче – здесь, завтра – там...». Она стала моей любимой песней. «Нынче – здесь, завтра – там...» – что может быть прекраснее? Завтра сулило неизведанное, интересное, увлекательное. Завтра звало и манило.

Казалось, завтра всегда будет прекрасным. Сколько горьких, тяжелых разочарований преподнесла жизнь. Но даже в лагере, не будучи уверенным в том, что будущее наступит (не завтрашний лагерный день, а – будущее), я все равно мечтал о новых городах, которые когда-нибудь (если останусь жив) увижу, пусть даже только те, что не значатся в списке двухсот семидесяти двух, куда бывшему заключенному сталинских лагерей путь был заказан.

Но судьба и Бог оказались настолько благосклонны ко мне, что через 33 года после освобождения я начал ездить и езжу так много, как не могло мне присниться в лагере даже в самом радужном сне.

Я люблю все города, в которых побывал. Все без исключения – и великие, знаменитые, воспетые во все времена поэтами и художниками, и маленькие, мало кому известные прекрасные города не только за рубежом, но и здесь, в России, в бывшем СССР, который тоже мне посчастливилось объездить вдоль и поперек. Нынче – здесь, завтра – там...

Жажда моя была неутолима. Я и сейчас, в 85 лет, мечтаю о новых поездках, о новых городах и странах.

Я люблю все города, которые видел за свою долгую жизнь. И маленький Касимов, который был моей первой заграницей, и Париж, и Лондон. И пыльные улицы давнего Ставрополя, где жил я недолгое время между двумя посадками, так же дороги мне, как древние московские мостовые 1923 года, года моей первой встречи с Москвой, став-

шей городом всей моей жизни, как незнакомые мне витрины и фасады новых нынешних московских домов.

Я люблю путешествовать, меня все еще влечет куда-то. Но я люблю возвращаться домой. Это очень важно для человека – знать, что есть где-то на земле место, уголок, который он может назвать своим домом. И совсем необязательно, чтоб это были роскошные и удобные апартаменты, это могут быть даже нары в бараке – главное: иметь ощущение дома. Я старался сохранить его всегда, везде, в любых условиях. Ощущение бездомности лишает человека надежды.

И мне не стыдно сказать о себе: я – патриот.

Из цикла бесед
**«ДОРОГАЯ
МОЯ
СТОЛИЦА»**, 1994–1998 гг.

Москва – главный город в вашей жизни, я знаю – вы считаете себя москвичом. Почему вы никогда не писали о Москве?

Трудный вопрос. На вопрос – почему что-то не написал? – писателю вообще трудно ответить. Не получилось. Времени не хватило. Или просто не пришло в голову. Хотя я знаю о Москве очень много.

Давайте немножко повспоминаем. Я не буду задавать вопросы.

Впервые я попал в Москву в 1923 году, мне было пятнадцать лет. Я был обуреваем жадной перемен, жадностью к новым впечатлениям. Я был счастлив от одной только мысли, что буду жить в Москве. Никакие трудности предстоящей жизни и проблемы нашей семьи не занимали меня, просто не доходили до моего сознания. Мир вокруг был так прекрасен. Жить было так интересно.

Первая моя прогулка по Москве была пешая, от Александровского вокзала до дома № 52 по Большой Ордынке, дома, где прошла моя юность, дома, который долгие годы был нашим родовым гнездом, где до войны жили моя мама, отец и моя дочка Наташа, а после войны – мама и Наташа. Сюда, на Ордынку, примчался я нелегально в конце сорок пятого года, чтобы увидеть их.

А тогда, летом 23-го, я был ошеломлен и счастлив, в этом новом и необычном московском мире, в который я попал, все было непривычно: люди, витрины магазинов, трамваи, пролетки, автомобили. Мы долго шли через всю Москву, и я с волнением и радостью узнавал знакомые мне

с детства по книгам и по картинкам места. Правда, я был настолько переполнен восторгом, что все в моей голове перепуталось и даже Красную площадь я не разглядел как следует от этого восторженного гула в голове – я приехал в Москву.

Дом наш на Ордынке был типичным старомосковским деревянным домом, добротным, из дубовых бревен, с мезонином и парадным крыльцом, с большим садом во дворе, с плодовыми деревьями, ягодными кустарниками и кустами сирени. Правда, это последнее обстоятельство меня ничуть не привлекало, я без сожаления оставил все эти прелести в Горках. Поскольку в доме не было ни канализации, ни водопровода, мне гораздо интереснее было ходить за водой к колонке на Серпуховской площади. Там гудела настоящая Москва.

Москва-столица, настоящий, большой город – вот что влекло меня неудержимо.

Со старым планом Москвы, вырванным из книги «Вся Москва», и куском хлеба в кармане я исходил весь город вдоль и поперек. Я был свободен и счастлив, казалось мне, нет человека, счастливее, чем я.

1923 год – расцвет нэпа, фантастическое время, нынешнее поколение даже представить себе не может странную, почти неправдоподобную атмосферу тех лет. Жизнь казалась театром, игрой, маскарадом. Воскрес, казалось, из небытия мир купцов, коммивояжеров, фабрикантов, лавочников, фальшивомонетчиков, проституток и воров. На месте сегодняшнего Зала им. Чайковского было казино с рулеткой, с «золотым столом», где ставка была не меньше червонца. Частные магазины и рестораны с дореволюционными вывесками: «Молочные Чичкина», «Трактир Тестова», «Яр», «Медведь». Артист Ярон был хозяином московского театра оперетты. Даже асфальт на улицах не был бесхозным, о чем свидетельствовали впечатанные в него медные таблички с именем владельца. Возродились частные книжные издательства. Появились тысячи безработных.

Какие-то штрихи той жизни угадываю я в сегодняшней Москве. И честно говоря, не знаю, радует ли это меня. В разгуле нэпа явно виделась добропорядочность старого купечества, не было рэкетиров, заказных убийств, бандитских разборок, не было ничего подобного нынешнему беззаконию и повальной жестокости.

А где сегодня люди, жертвующие свои капиталы на поддержание российского искусства, на благотворительные нужды? Их нет пока. А вызывающая роскошь балов, презентаций и низкопробных шоу не идет на пользу обществу. Это мыльные пузыри.

Однако не сомневаюсь в том, что если не сами «новые русские», то их дети или внуки научатся меценатству (или вернутся к нему). В России так было всегда. Время все поправит. И будущие поколения будут гордиться сегодняшними Третьяковыми и Морозовыми, их имена будут знать все.

А что вы скажете о сталинской Москве, о тех переменах, которые происходили у вас на глазах в 30-е годы?

Да, в конце 30-х годов Москва стала меняться с такой быстротой, что трудно было узнать даже самые известные московские улицы. Безжалостно и бездумно сносились древнейшие здания, творения великих архитекторов, уничтожался тот облик города, который придавал ему прелестное своеобразие. Московский дух, московский колорит беспощадно вытравлялись. Больно было это наблюдать.

Товарищ Сталин, главный архитектор тоталитарного режима, стал одновременно и главным архитектором столицы.

Он не остановился даже перед тем, чтобы посягнуть на самое святое место города, страны, истории народа – на Московский Кремль. Были снесены два исторически известных монастыря – Чудов и Вознесенский – для того, чтобы на их месте возвести казарменный корпус для привилегированной военной школы. По этому невыразительному и претенциозному зданию можно было судить о вкусе Сталина-

архитектора и можно было предположить, как покалечена и изуродована будет старая Москва в погоне за псевдовеличием и помпезной монументальностью.

Вместо небольших и уютных старомосковских домов воздвигались огромные, пышные здания, главными приметами которых было изобилие мрамора, лепнина, позолота, не несущие никакой нагрузки колонны, до отвращения плохая скульптура – установленные в специальных нишах и проемах статуи рабочих разных профессий с киркой или молотом в руках, полногрудых колхозниц со снопами колосьев, спортсменов с одинаково напряженными мышцами и лицами. Тотальная безвкусица.

Даже московские памятники не обошло это переустройство. Памятник Гоголю, один из самых замечательных памятников Москвы, работы выдающегося скульптора Николая Андреевича Андреева, установленный в Москве в 1909 году, не понравился Сталину. И он приказал заменить его другим – более оптимистичным. Приказ был исполнен. К счастью – скульптор не дожил до этого, к счастью – памятник не уничтожили, а перенесли во двор арбатского дома, где жил писатель. А на месте памятника работы Андреева стоит другой памятник Гоголю, поражающий безвкусицей и бездарностью.

В архитектурном облике Москвы, вытесняя все, устанавливался стиль безвкусной помпезности. Искусствоведы-градостроители с горечью вспоминали слова великого римского архитектора Витрувия: «Кто не умеет строить красиво – строит богато». Впрочем, высказывали это мнение осторожно и отнюдь не публично, никто не отважился заступиться за старую Москву открыто, наступали тревожные времена повального страха. Лишь отчаянные смельчаки вслух называли создаваемый Сталиным градостроительный стиль «ампир во время чумы».

В самом деле, в те годы руководство государства делало все возможное и невозможное, чтобы в стране, а в столице в первую очередь, царила атмосфера пира, непрерывных

празднеств и торжеств. Причем – по любому поводу. Годилось все, даже несчастье, например, гибель парохода «Челюскин» и вывоз со льдины уцелевших его пассажиров. Построили самый большой в мире самолет «Максим Горький» – он разбился. Запустили самый большой в мире стратостат, чтобы он к открытию партийного съезда поднялся на рекордную высоту – выше всех в мире, – стратостат потерпел крушение, погибли отважные люди, члены этого экипажа. И это не было помехой: пышный праздник или пышные похороны – не имело значения. Прощаясь с героями, народ тоже ликовал, та же толпа, те же флаги и транспаранты, те же слова восхваления.

Мы самые великие – вот что хотели внушить народу. И наше величие – во всем.

Жизнь Москвы в 30-е годы напоминала непрерывное шоу, как сказали бы сегодня: бесконечные народные гулянья, манифестации, огромные транспаранты на фасадах и крышах домов, и портреты Сталина повсюду, и бюсты Сталина всех размеров в самых неподходящих местах. И повсеместное прославление Сталина, которому приписывались заслуги во всех без исключения областях жизни и деятельности человека. До неприличия, до смешного, когда уже невозможно было понять – Чкалов совершил беспосадочный перелет в Америку или Сталин. Недаром в дни, когда в Москве до непристойности пышно, как можно было бы отмечать столетие со дня рождения великого поэта, отмечалось столетие со дня его трагической гибели, ходил такой анекдот: «Объявлен конкурс на новый памятник Пушкину. В финале конкурса два проекта – Пушкин, который держит в руках книгу Сталина, и Сталин с томиком Пушкина в руках. Победил второй проект».

Все виды искусства были мобилизованы на то, чтобы создать и поддерживать в народе неугасающе радостное настроение. Началось массовое производство кинокомедий (иногда очень талантливых, как, например, фильмы Григория Александрова), в которых народ хором пел песни

о своей счастливой жизни. Ставились новые советские оперетты, в театрах появились современные комедии. Даже проклятый Горьким джаз стал появляться в больших концертных залах.

Власти делали все возможное, чтобы вытравить из памяти людей недавние страшные голодные годы, карточки и пустые магазины начала 30-х. Внешнее изобилие било в глаза – магазины были завалены недоступными подавляющему большинству населения испанскими винами, коньяками и апельсинами, ввозимыми в страну в обмен на оружие, которое мы поставляли в Испанию.

Переполненные магазины, массовые гуляния по любому поводу, непрерывной чередой так называемые «декады искусств» всех национальных республик, входящих в Советский Союз, грандиозные концерты и смотры в самых больших залах столицы.

Выражение радости и счастья стали обязательными для всех. Это настолько бросалось в глаза, что даже писатель с мировым именем Лион Фейхтвангер, полюбивший Сталина и поверивший каждому его слову, в своей знаменитой, насквозь лживой книге «Москва. 1937» написал: «Рабочие, командиры Красной Армии, студенты, молодые крестьянки – все в одних и тех же выражениях рассказывают о том, как счастлива их жизнь, они утопают в этом оптимизме и как ораторы, и как слушатели. Власти же стараются подерживать в них это настроение. Стандартизованный энтузиазм, в особенности, когда он распространяется через официальные микрофоны, производит впечатление искусственности».

Даже Фейхтвангер, ничего не разглядевший и не понявший в Москве 37-го года, усомнился в истинности всенародного энтузиазма.

А что можете сказать вы – человек, живший в те дни в Москве, видевший и знавший ее под разными углами зрения, пусть даже и без сегодняшнего ваше-

го знания, опыта и переосмысления всех событий той жизни?

Да, почти уже не осталось людей, которые могли бы сегодня поспорить с чудовищной неправдой, которой насквозь пропитана книга Фейхтвангера. Я прожил в Москве весь 37-й год и еще несколько месяцев следующего, пока со мной не случилось то, что случилось с сотнями тысяч моих земляков. Нет, я, уже в 37-м году настоящий москвич, не стану спорить с писателем, который, пробыв в моем городе всего несколько недель, отважился поведать миру о его безмятежном величии и праздничности. Несмотря на десятилетия, которые отделяют меня от того рокового года, я сегодня вижу и помню Москву тех страшных дней во всех мельчайших подробностях, которые и составляют картину жизни.

И все же не могу не вспомнить опять Фейхтвангера, не цитируя, а по памяти – он писал, что Москва застроена богатыми монументальными зданиями, клубами, дворцами спорта, красивыми и просторными библиотеками, что по ночам она сияет огнями, как ни один город мира, что москвичи любят гулять по улицам и проводить время в своих клубах. Все чистой воды неправда.

О новой московской застройке тех лет я уже говорил. Были, конечно, в центре старомосковские улицы, хорошо освещенные, милые сердцу любого москвича. Но гулять по ним в те годы не любили, даже те, кто жил на этих улицах, старался пройти поскорее, а чаще пользовались обходными путями – переулками и проходными дворами. Улицы эти официально назывались «режимными» и жить на них было очень неуютно, несмотря на дореволюционные бытовые удобства: всех жильцов, а это могли быть только коренные москвичи, тщательно и неоднократно проверяли, окна всех домов, выходящие на улицу, было запрещено открывать даже летом, каждый гость должен был пройти паспортный контроль и зарегистрироваться. За на-

рушение «паспортного режима» в Уголовном кодексе была предусмотрена статья, по которой можно было получить тюремный срок.

Такие строгости объяснялись очень просто – по этим «режимным» улицам проезжал Сталин. Самой «режимной» улицей был некогда любимый москвичами Арбат, который в Москве 37-го года втихомолку называли «военно-грузинской дорогой». Это был главный наземный путь товарища Сталина из кремлевской резиденции до «Ближней дачи», где он постоянно проживал. Я говорю «наземный», потому что существовал и подземный тоннель, ведущий из Кремля за город.

Однако Сталин любил ездить по своему городу, по своей «военно-грузинской дороге» и днем, и вечером, и ночью. Поэтому круглосуточно в подворотнях и у подъездов всех домов дежурили хорошо всем знакомые люди в штатском, они прохаживались и по тротуарам, вглядываясь в каждого прохожего. «Топтуны» – их знали все москвичи. Эти бесменные вахты несли на случай, если по улице вдруг промчится кавалькада машин, и чтобы никто в этот момент, упаси боже, не выскочил на улицу. Дрожали от страха «топтуны», дрожали случайные прохожие.

Атмосфера страха сгустилась над городом.

Мне кажется, что вы говорите это сегодня, с позиций человека, пережившего и осмыслившего то страшное время. Может быть, большинство москвичей ничего этого тогда не чувствовали, не понимали, не замечали?

Люди могли не понимать, не знать, не желать разобратся в происходящем, искренне верить в правоту дела партии, но не видеть они не могли. Были такие приметы жизни города в то время, которые нельзя было не замечать, не слышать, не видеть даже тем, кто считал себя непричастным ко всему происходящему. Топот ног в ночном подъезде, стук в дверь, визг тормозов под окнами, исчезнувшие

соседи, с которыми еще вчера здоровался и разговаривал. Во многих московских домах не было лифтов, и, поднимаясь по лестнице, нельзя было не видеть опечатанные двери квартир. А тревожные утра на работе – в учреждениях, больницах, школах, повсюду: шепот – такой-то не явился на работу, и все прячут глаза друг от друга, затаив страх. И каждый знает, о чем другой думает. А почти ежедневные рабочие собрания, на которых осуждали очередного врага, затесавшегося в ряды честных тружеников (врачей, ученых, артистов, рабочих)? Еще вчера он был своим, а сегодня – враг, и готова резолюция, и из президиума зорко следят за голосованием – осуждение должно быть единодушным. А если это твой давнишний друг?

Нет, никто не может сказать, что он с этим явлением не столкнулся. Люди были подавлены и раздавлены страхом. Этот страх прочно засел в сознании москвичей. Кто не помнит тревожные утренние звонки – боялись плохих вестей, а если кто-то из друзей или близких не подходит к телефону, то первая мысль – неужели взяли?

Был в Москве дом-символ этого времени, его нельзя было не заметить, даже если тебе не случалось проходить мимо, то рассказы о нем ты не мог не слышать. В Москве этот дом называли «домом правительства», а в литературу он вошел, как «дом на набережной». Огромный, охватывающий по периметру целый квартал многоэтажный, многоквартирный серый дом, построенный в начале 30-х годов с максимальным по тем временам комфортом и удобствами для государственно-партийной элиты. Туда они и переселились из Кремля, из фешенебельных гостиниц «Метрополь», «Националь» и других мест временного проживания со времен переезда правительства и партийной верхушки из Петрограда в Москву. Дом этот ослепительно сиял огнями тысяч окон, освещая все прилегающие улицы, он бросался в глаза, его нельзя было не заметить. И конечно, нельзя было не заметить, что к началу 37-го года в этом море огней стали появляться темные пятна, их становилось все боль-

ше и больше, фасад дома, мимо которого спешили прохожие, катастрофически темнел. К концу 37-го года в «доме на набережной» почти не осталось освещенных окон.

Нет, этого нельзя было не заметить. И не задаться вопросом – что же происходит? И не почувствовать страх, даже если живешь ты в доме совершенно другого типа.

В городе появлялись и другие приметы чумы тоталитаризма. Во многих районах Москвы на магазинах, где раньше продавались канцтовары или галантерея, стали появляться наспех сделанные новые вывески: «Распродажа случайных вещей». В этих магазинах не стояли очереди, и покупателей здесь было немного. Конечно, всегда находились люди, не страдающие чрезмерной щепетильностью, готовые нажиться на чужой беде. По Москве уже пошел слух, что в этих магазинах продают вещи, конфискованные у арестованных «врагов народа»: все было подержанное – мебель, ковры, одежда, посуда, иногда попадались предметы антиквариата, богатый хрусталь, картины. Иногда заходили в эти магазины родственники арестованных, чтобы купить какую-то свою, дорогую по воспоминаниям вещь, наверное, с надеждой когда-нибудь вернуть ее владельцу. Мало кто знал тогда, что в этих магазинах продают вещи людей уже расстрелянных, потому что по указанию Сталина приговор о расстреле всегда сопровождался дополнением: «с конфискацией имущества».

Одним из самых процветающих торговых заведений Москвы тех дней стал старый маленький магазин «Рабочая одежда» на Таганке. Здесь всегда стояла очередь, покупали валенки, ватные брюки, телогрейки и бушлаты. Разумеется, это были родственники арестованных, те счастливицы, которые уже получили из лагеря весточку и им был известен адрес, по которому можно было отправить посылку. И спешили отослать теплые вещи, чтобы уберечь своих родных от лютых северных, сибирских, колымских морозов. Спешили, но как часто посылки уже не заставляли адресата в живых...

Были и еще более страшные приметы того времени – московские тюрьмы: Таганская, Лефортовская, Бутырская, Новинская, Сокольническая, Краснопресненская. Возле каждой из них тянулись длинные многочасовые очереди родственников арестованных – справку получить, передачу передать...

И еще один знаковый дом тех лет – Кузнецкий мост, 24, Приемная НКВД. На дверях приветливо сообщалось: «Прием граждан круглосуточно». Но это относилось не ко всем гражданам – круглосуточно принимали здесь лишь доносчиков-стукачей. Все прочие граждане приходили в строго отведенные часы приема и толпились в большом дворе этого дома за забором, так что с улицы эту молчаливую толпу видно не было.

И все же – аресты происходили чаще в среде творческой интеллигенции, крупных ученых, ведущих партийных работников и государственных чиновников. А простые москвичи не были втянуты в эту мясорубку. Или это просто была видимая часть айсберга – «враги народа» среди известнейших людей страны, зачастую всенародных любимцев? Такое нельзя было не заметить, это повсеместно обсуждалось, было на слуху у всех, об этом писали газеты, сообщали по радио – совсем не то, что исчезновение подсобного рабочего или школьного учителя?

Совершенно верно, это заблуждение – считать, что аресты и расстрелы были уделом только партийно-государственной верхушки и известных деятелей культуры и науки. Конечно, на интеллигенцию оглушающее впечатление производили аресты писателей такого ранга, как Бабель, Пильняк, Мандельштам. Но арестованных и в большинстве случаев расстрелянных писателей были не десятки, а сотни, если считать не только москвичей. Были арестованы и крупнейшие ученые, и известные актеры, видные воен-

чальники, известные юристы, врачи. Но все же главными объектами репрессий были простые рабочие и служащие, инженерно-технический персонал, крестьяне. Это подтверждает статистика: не очень точное число жертв сталинского террора – 21 миллион человек – говорит само за себя: известных деятелей во всех областях по всей стране было неизмеримо меньше.

Недавно в «Вечерке» стали печатать списки людей, расстрелянных и захороненных на нескольких московских кладбищах. Ужасающее впечатление производят эти списки с маленькими предсмертными фотографиями и короткой справкой – имя, фамилия, год рождения, профессия, день ареста и день расстрела. Сотни и сотни уничтоженных людей, разных профессий, возраста, национальностей, в большинстве своем беспартийные, не занимавшие никаких ответственных постов.

Однако сегодня, анализируя все, что происходило тогда, и понимая логику поведения Сталина, можно догадаться о причинах гибели этих без сомнения ни в чем не повинных людей. Сталину нужно было каким-то образом объяснить, найти виноватых в страшном массовом голоде, который он и его приспешники организовали в начале 30-х годов на Украине и в южных областях России. Отголоски этого голода, унесшего около 5 миллионов жизней, докатились и до столицы, несмотря на строгие военные кордоны, не допускавшие в город голодных и нищих, несмотря на то, что Москву кормила вся страна.

Сталин оказался верен себе, – со свойственным ему цинизмом он заявил, что виновниками голода являются вредители, работающие в сельском хозяйстве. Народ уже привык к таким объяснениям и к разоблачению вредителей тоже привык, народ жаждал крови виновных. И он это получил.

Это сегодня мы видим, кто значится в тех расстрельных списках: простые агрономы, преподаватели сельскохозяйственных вузов и училищ, директора магазинов, заведующие складами, а иногда и простые кладовщики. Есть в этих

списках и люди просто малограмотные, не имеющие никакого, даже косвенного отношения к сельскому хозяйству: вахтеры, подсобные рабочие и даже телеграфисты и театральные гардеробщики. Этих, по-видимому, «добирали» до нормы.

Что ж, сегодня мы знаем: лес рубят – щепки летят. Больно, горько, стыдно, что прозрение пришло слишком поздно. И ничего нельзя изменить. Только предупредить, предотвратить. Потому – о чем бы ни говорил: о Москве, о литературе, о будущем, – возвращаюсь к тем страшным годам, через которые всем нам пришлось пройти. Чтобы не забывали никогда.

Почти каждый читающий человек знает, что Петр I построил великий город Санкт-Петербург на костях многих тысяч русских крестьян. Но мало кто из москвичей, которые едут сегодня по автотрассе Москва–Минск или совершают прогулку на теплоходе, плывущем по каналу Москва–Волга, знают, что строили все это зеки и что под ровным асфальтовым покрытием и на дне канала навеки запрятаны лагерные кладбища, на которых лежат кости сотен тысяч безымянных заключенных ГУЛАГа. Не обращали и тогда москвичи внимание на высокие заборы с колючей проволокой, вышки с часовыми. Не замечали, не догадывались или старались не думать...

Студенты Московского университета из разных регионов России и из разных стран мира понятия не имеют, что когда-то на месте известной во всем мире высотки МГУ на Ленинских горах находился один из так называемых почтовых ящиков ГУЛАГа, в котором отбывали свои сроки заключенные, строившие эту цитадель знания. И другие московские высотки строили зеки, и полукруглые дома на Калужской площади (ныне площади Гагарина), и много других известных домов. Но не им досталась слава строителей столицы, им достался каторжный труд и безвестная смерть. Боже мой, сколько лесов, яблоневых садов, дачных поселков для начальства разбито на костях расстрелянных и погибших в

одной только Москве и ближнем Подмоскowie, сколько безымянных могильных рвов.

Страшно и стыдно, что нынешнее поколение москвичей не знает и не помнит эти зловещие страницы истории своего города.

Конечно, время стирает следы прошлого, – каким бы оно ни было. И, наверное, нельзя обвинять сегодняшних москвичей за незнание. Они этим не отличаются от граждан других городов. Ведь и парижане весело шагают по уютной и красивой площади своего прекрасного города, прежде называвшейся Гревской, и наверняка не помнят, сколько тысяч невинных голов скатилось по ее камням из-под ножа гильотины.

И все-таки... написал же Пушкин в стихотворении «Воспоминание»:

*И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.*

Не смываю строк печальных...

Это значит, что люди никогда не должны забывать свое прошлое, каким бы горьким и трагическим оно ни было. Человечество помнит свое прошлое ради своего будущего.

А сегодняшняя Москва, такая другая, такая местами европеизированная, до неузнаваемости, с фешенебельными торговыми и правительственными комплексами, с роскошными пятизвездочными отелями, с какими-то безумными и безвкусными памятниками, с вновь отстроенными храмами, часовнями, церквями, с оптовыми рынками и уличными развалами, с цветочными киосками на каждом шагу, даже с уличными небольшими кафешками – эта Москва ваша? Вы ее по-прежнему любите? Не раздражает она вас? Несмотря на отдельные роскошества по-прежнему грязная, с разбитым асфальтом, с запущенными

ми подъездами жилых домов, с плохо работающим городским транспортом, с бесконечными «пробками» на дорогах, с вызывающим контрастом богатства и нищеты?

Сегодня я тоже люблю Москву. Этот город мой навсегда, и другого у меня не будет. Да и не хочу я другого. Конечно, сегодняшней Москвы я не знаю, давно уже не хожу пешком по любимым тихим улочкам и переулкам, которые тоже, наверное, не обошла нынешняя городская перестройка, когда беззастенчиво и бездумно стирают памятные штрихи с лица города. Москве не привыкать к такой ломке. Когда же у нас появятся архитекторы, которые любят свой город?

Тираны все хотели увековечить себя в архитектуре, но то ли у итальянских Борджиа был хороший вкус, то ли им повезло на великих архитекторов, не знаю. А наши градостроители – по природе своей разрушители, им лишь бы построить свое.

С одной стороны хорошо, что наша столица приобретает черты более цивилизованного города – удобные автомобильные стоянки, новые эстакады, современные торговые комплексы. Но все же этот повальный евроремонт моего любимого города мне не по душе. Я старый москвич, мне грустно смотреть, как Москва утрачивает свое, искони московское. Не понимаю, почему обязательно надо перестраивать все на европейский манер? Я житель Замоскворечья, мне жаль дивных деревянных домов Малой Полянки, Малой Якиманки, переулков на Ордынке. Конечно, деревянная Москва ушла в прошлое, но сохранить что-то в память о той эпохе, – по-моему, не грех.

Все это очень грустно, и когда я еду по Москве (теперь уже чаще всего в автомобилях своих друзей, которые любезно заезжают за мной, чтобы доставить меня по нужному адресу), я иногда ловлю себя на том, что не узнаю улицы, по которой еду, мне даже кажется, что я никогда не был в этом городе. И вдруг – мелькнет фасад знакомого дома, и

сердце мое дрогнет. Это дом, из которого вынесли в последний путь Николая Васильевича Гоголя, дом, к стене которого я впервые с замиранием сердца прикоснулся в год моего первого знакомства с Москвой, семьдесят с лишним лет назад. А вот знакомая красная ограда Донского монастыря, в безлюдном дворе которого среди старых могильных плит и лопухов подолгу сидел я, отдыхая, перекусывая и продумывая дальнейший свой пеший маршрут по Москве. Обязательно – пеший, несмотря на то, что мама давала мне 10 копеек на трамвай, чтобы сберечь мои ботинки. На эти 10 копеек на Сухаревке я покупал себе ириски или марки. И упрямо шагал по Москве пешком – и тогда, и гораздо позже, когда ходил в гости к своим друзьям, жившим в разных концах города.

Много памятных, знаковых для меня мест осталось в этом прекрасном городе. В свое время я исходил Москву вдоль и поперек, знал все улицы, переулки, дворики, их историю. В пределах Садового кольца я знал ее почти наизусть. Где бы я ни находился, я мог мысленно представить себе любой московский дом, любую улицу. История Москвы не просто интересовала меня, она меня волновала.

Мне нравится, что старым московским улицам стали возвращать их прежние названия: Остоженка, Поварская, Варварка, Пречистенка, Ордынка – эти названия сами по себе памятники истории города, по ним многое можно узнать. Это увлекательное узнавание, и я завидую юным москвичам, которым предстоит еще проделать этот путь. Они будут любить Москву такой, какой она будет, какой она станет, это другой город, другая Москва. Но все же это Москва, и, может быть, я столкнусь на Никитском бульваре во дворе Гоголевского дома с пятнадцатилетним мальчишкой, прикоснувшимся ладонью к стене, у которого (я это узнаю сразу, по его глазам) душа трепещет от восторга приобщения. Как когда-то трепетала моя душа.

Помните, у Вознесенского есть видеомани: «Мани... мани... мани...нема...нема...нема». Деньги и их отсутствие. Главная застольная песня нашего народа, сегодня почти все разговоры сводятся к этому, в любой среде. Деньги, бумажки, как их ни называй: вексель, ассигнация, облигация. Игра, конечно. Но очень опасная: мошенничество, предательство, убийства и даже войны – сколько их было из-за денег. А как вы относитесь к дензнакам?

Не помню, кто сказал: «Деньги не бывают плохими или хорошими – плохо, когда их нет». Я старый человек и теперь уж могу со всей определенностью сказать – деньги, как таковые, меня никогда не интересовали. Я не был нумизматом и никогда не занимался накопительством. Но, тем не менее, через мои руки прошло огромное множество разных денег. Дело в том, что во времена моего детства, отрочества и юности дензнаки невероятно быстро менялись, так же стремительно, как события в стране. Я хорошо помню царские николаевские деньги. Правда, в нашей семье больших денег никогда не было, но отношение к ним было бережное и почтительное. Самая крупная купюра, которую я видел в детстве, – зеленая трехрублевка. Но это были немалые деньги, на них можно было купить корову. И она у нас была – единственная собственность нашей семьи корова Бирка, кормилица наша в самые голодные девятнадцатый, двадцатый и двадцать первый годы. Зарплата моего отца, простого рабочего в кустарной мастерской разорившегося польского шляхтича Казимира Падзерского, которая, по-видимому в рекламных целях, громко и красиво называлась «Парфюмерная фабрика Казими-метаморфоза», составляла всего 60 рублей. Достатка, конечно, не было, но мы не

были бедны, то есть ни в чем не нуждались. Нужда настала потом, после революции, во время Гражданской войны, когда отец остался без работы и вопрос стоял – пойдут ли дети в школу, то есть, сможет ли он достать для них ботинки. Это была трагическая история со счастливым концом, я описал ее в книге «Позавчера и сегодня».

Только в тридцатые годы мне неожиданно удалось увидеть всю палитру николаевских денег – ими была оклеена стена дачной комнаты моего товарища, раздобывшего где-то весьма увесистую пачку, в которой были и пятисотки – самая крупная купюра с изображением памятника Петру I. Это было очень красивое панно, вызывавшее какое-то странное и даже тревожное чувство, – мы оба помнили, какое невероятное, неслыханное богатство еще сравнительно недавно являли собой эти наклеенные на стену бумажки-фантики.

Помните вы свои первые самостоятельно заработанные деньги?

Да, это были уже дензнаки Страны Советов, плод второй денежной реформы, проведенной наркомом финансов Сокольниковым. Деньги ничем не примечательные, но в те годы они еще были в цене. Это я помню хорошо, потому что получил первый в своей жизни гонорар в газете «Юношеская правда» (будущий «МК») – 9 рублей. Огромная сумма! Я, мальчишка-школьник, купил себе заграничные туфли и рижский (тоже заграничный) пиджак.

Это был единственный в жизни случай, когда вы чувствовали себя богатым?

Нет, был еще один, позже. За первую свою книжечку, вышедшую в издательстве «Молодая гвардия», которая называлась «Рабочая комната» (из серии «Жемчужины пионерского опыта»), я получил гонорар 120 рублей, сумасшедшие

деньги. Я купил себе прекрасный костюм, отдал кучу денег маме, кое-что «заначил» себе. Вот тогда я по-настоящему чувствовал себя миллионером.

А держа в руках нынешний миллион образца 1997 года?

Разве это деньги? Это просто бумажки, вроде «керенок». Чем больше нулей, тем более нищим чувствует себя человек. Хотя, конечно, не в нулях дело, есть страны, где привыкли к нулям, – японские йены, итальянские лиры. Конечно, дело в достоинстве валюты, в том, что на нее можно купить, это главное, все остальное – из области искусства: картинки на банкнотах, цифры, нули. Условность. Если коробок спичек всегда стоит миллион, никто не обращает на это внимание. А вот если он стоит уже миллион в результате инфляции – это другое дело. Мы сейчас, по-моему, к тому идем.

Надеюсь, что у этих наших миллионов век будет столь же недолгим, как и у «керенок», у которых и судьба была такая же нелегкая: инфляция росла, деньги обесценивались. Их перестали разрезать на квадратики и выдавали лентами, которые можно было свернуть как полотенце. Кстати, «керенки» я так хорошо запомнил еще и потому, что это были первые деньги, которые я самостоятельно тратил, мама выдавала мне их на мои мальчишеские нужды. Бумажные квадратики украшал новый герб – двуглавый орел без короны и был указан номинал: 3, 5, 10, 20 рублей. А «копейками» служили царские почтовые марки с портретами всех царей, выпущенные в большом количестве к 300-летию Дома Романовых.

Давайте продолжим этот экскурс по российской валюте.

Затем появились первые советские деньги, так называемые «дензнаки». Каждая бумажка была подписана первым министром финансов Сокольниковым, который и про-

вел первую советскую денежную реформу. На дензнаке было написано, что он обеспечивается всем достоянием республики. Но, очевидно, невелико было достояние, потому что инфляция неумолимо сжирала эти деньги.

Следующий этап – нзп, период оживления экономики, ознаменованный появлением первой твердой валюты молодой республики – червонца.

Червонец был красивой валютой?

Не красивой, но серьезной, вызывающей уважение. Червонец был выпущен не Министерством финансов, а Госбанком и подписан всеми членами правления банка, крупнейшими специалистами банковского дела в царской России. Кстати, никуда нам от этой темы не уйти – все они впоследствии были расстреляны во главе с автором первой советской денежной реформы Сокольниковым.

Таким образом, появились две валюты – дензнаки, стоимость которых стремительно падала с каждым днем, и твердая валюта, червонец, в виде банковских билетов разного достоинства и золотой монеты. Червонцы свободно продавались, так же, впрочем, как и любая иностранная валюта. Бешеная инфляция заставляла людей всю зарплату, полученную дензнаками, тут же менять на червонцы. Кстати, из всех валют предпочтительнее был червонец, до тех пор, пока не была отменена новая экономическая политика.

Следующая денежная реформа явила нам новые деньги, уже никем не подписанные, безымянные, но все же эти деньги какое-то время были в цене.

Затем ничего интересного из этой области я не помню по той простой причине, что ничего примечательного во всех последующих деньгах не было. И уважения особого они не вызывали.

Я к тому времени окончил школу, поступил в педагогический институт и начал получать стипендию. Началась нормальная студенческая жизнь. Кроме того, как в том анекдоте про еврея-портного, который сказал, что если бы он стал ца-

рем, то жил бы получше, чем царь, потому что немножечко шил бы – так и я: не только получал стипендию, но еще немножечко пописывал. В свободное время, которого, впрочем, было мало. Мало – не потому что я был очень прилежным студентом, я таким никогда не был.

Но – девушки, но – любовь. Да?

Да, конечно, и девушки, и любовь, я в те годы был ужасно влюбчивым. Но не только это. Я бегал по театрам, на все поэтические вечера и собрания, не пропускал ни один поэтический вечер в Политехническом институте, был на всех выступлениях Маяковского. Столько интересного было вокруг – едва успевал.

Так что на деньги я перестал обращать внимание, отношения с ними были нормальные: они или были, или их не было. А какие они – не помню. После червонца – не помню.

Да и все дальнейшие денежные реформы, проводимые советским правительством, под каким бы соусом они ни преподносились, на деле оказывались откровенно дискриминационными.

Кстати, о реформах. Давайте как в какой-то телевизионной игре: за несколько секунд – какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слова «денежная реформа»?

Не только я, но весь народ кричит: обман! караул! грабеж! катастрофа! И так далее. И никто не кричит «ура!». Потому что хорошо помнят издержки всех предыдущих реформ. Научены горьким опытом. Потому что на деле все коммунистические реформы были обманом. На моей памяти только одна реформа нэпа – введение червонца – была благотворительной. А все остальные денежные реформы, повышение цен, снижение зарплаты, неизменно сопровождаемые словами «в целях улучшения...», на деле означали ухудшение.

И, кроме того, реформа – это всегда что-то новое, какая-то ломка, а новое не только манит, но и страшит. Так было всегда.

Вот предлагаемая сейчас деноминация вроде бы не вызывает тревоги. А недоверие все же есть. Да, запутались в нулях, да, пожилым людям особенно тяжело привыкнуть к новым масштабам цен. И всем ясно, что количество нулей, добавленных к сумме наших пенсий и зарплат, не сделало нас богаче. Скорее наоборот. Но есть все же опасение, что не обойдется без путаницы при одновременном хождении старых и новых денег, и денежная масса увеличится в этот период, а значит, и цены могут возрасти.

Зато после деноминации мы вернемся к прежней системе исчисления. Все как бы станет на свои места.

И снова можно будет мечтать стать миллионером.

Вы в детстве были читателем, фантазером, мечтателем. Мечталось ли когда-то стать миллионером?

Пожалуй, нет. Я мечтал о путешествиях, о разных странах, мечтал открыть какой-нибудь неизвестный остров, может быть, найти клад, – но и это не было стремлением к обогащению, а рассматривалось как захватывающее приключение. А вообще мечта стать миллионером владела и владеет умами. И о миллионе говорили всегда с некоторым даже недоверием – трудно было представить такую огромную сумму денег, а о человеке, владеющем таким богатством – пусть и с завистью, но почтительно. Это в последние годы пресловутый миллион даже кликуху получил небрежную – «лимон». И нашим согражданам американский доллар милее и дороже своих российских рублей. А должно быть, как при нэпе: своему червонцу доверяли больше, чем доллару.

Возможно, грядущая деноминация, это обнуление возродит уважение к копейке? Ведь сейчас лежат

под ногами 500 рублей и их никто не поднимает. Может быть, когда обнулят, копейка снова будет рубль беречь?

Это, прежде всего, будет зависеть от того, что на копейку можно будет купить. Только этим определяется уважение к деньгам. У Ильфа и Петрова в прекрасной и, к сожалению, забытой книге «Одноэтажная Америка» есть очень тонкое и остроумное наблюдение по этому поводу. 'Если в Америке вы уронили на улице доллар, то человек, идущий сзади, поднимет, догонит и отдаст его вам. Но не обольщайтесь, предупреждают авторы, насчет гипертрофированной честности американцев – попробуйте уронить 10 долларов, их вам никто не вернет.

А что, по-вашему, нужно сделать, чтобы люди перестали бояться реформ? Есть у вас какой-нибудь простой, житейский совет?

А вот и есть, я вас сейчас удивлю.

Предлагаю перевести на русский язык все непонятные большинству населения иностранные слова, которые сейчас буквально заполонили речь наших депутатов и представителей власти, и журналистов, как будто они нарочно хотят всех запутать. Думаю, что если эти слова-ребусы перевести на родной язык, то, во-первых, кое-что проясняется, а во-вторых, отступает и страх перед неизвестным явлением. Тогда можно осмыслить расшифрованное понятие и попробовать противостоять ему с наименьшими для себя потерями.

К примеру, предстоящую деноминацию российской валюты, о которой мы только что говорили. Чтобы понять, что такое деноминация, не нужно знать латынь и иметь специальное экономическое образование. Достаточно заглянуть в словарь: «Укрепление национальной денежной единицы путем обмена по установленному соотношению старых денежных знаков на новые в целях упорядочения денежного обра-

щения, облегчения учета и расчетов в стране с одновременным пересчетом цен, тарифов, заработной платы и т. д.»

Тоже, конечно, не сразу поймешь, но все же – по-русски написано. И если немного подумать, то можно разобраться.

Мы действительно запутались в нулях, и расчеты невероятно сложны даже при покупке овощей на рынке. Психологически купить какую-нибудь вещь за 100 рублей гораздо легче, чем за сто тысяч, не говоря уже о миллионе.

Кстати, таких мероприятий с валютой не удалось избежать ни одной стране на разных этапах экономического развития, потому что девальвация (опять посмотрим в словарь – обесценивание денежной единицы) – явление рядовое, обычное. Все денежные реформы осуществляются в законодательном порядке, то есть для государства это наряду со сбором налогов – еще один из правомерных способов пополнения бюджета.

Это не вызывает у меня ни негодования, ни протеста. Я понимаю, что правительство хочет использовать еще одну возможность выйти из трудного экономического положения, пополнить бюджет за счет неизбежного при округлении повышения цен и завышенных трат населения в период перехода к новой валюте.

Но ведь мы должны признать, что цены растут и без этих мероприятий – то медленно, едва заметно, то рывком. И, кроме того, с точки зрения потребителя, то есть с нашей с вами точки зрения – пополнение государственного бюджета выгодно, прежде всего, нам с вами. Это возможность повышения зарплат, пенсий, всевозможных пособий и прочее. Получается, что со стороны государства нет никакого подвоха, есть прямой расчет, и это вполне оправданно.

Значит, у нас с вами есть единственный способ противостоять – тщательно контролировать свой семейный бюджет, учитывать и просчитывать все изменения, чтобы свести к минимуму потери. И в этом нет никакой трагедии. Строгий контроль за бюджетом – одно из непреложных правил, норма жизни для населения западных, экономически развитых

стран. Это мы, при нашей бедности, никак не можем избавиться от традиционного российского разгильдяйства.

Так что – давайте не будем валить все наши беды, как всегда, с больной головы на здоровую. Давайте будем учиться мыслить по-государственному. В конце концов, от этого зависит наше благосостояние.

Из цикла бесед
**«НЕ ГОРЯТ
РУКОПИСИ...»**, 1994–1999 гг.

Литература, по-вашему, может ли явиться спасительным лекарством, панацеей от всех наших недугов? Не политические баталии, экономические новации, уличные митинги и шествия с безграмотными плакатами, не думские потасовки и уличные драки, взаимные оскорбления на разных уровнях, повсеместно, а Литература, Слово, Книга? Тихое, взвешивающее осмысление бытия?

Для меня, несомненно – да. Не панацеей, панацей вообще, наверное, не существует. Но лекарством литература может стать – несомненно. Я стар, может быть, даже старомоден, и воспитан в старых литературных традициях, но я категорически убежден – задача литературы состоит в том, чтобы улучшить человека и мир, в котором он живет. Меня убеждает в этом не только мой личный опыт, но и весь многовековой опыт человеческой культуры.

Сейчас укоренилось презрительное отношение к книгам, вызывающим жалость к героям, сострадание к ним. Из нашей детской и юношеской литературы исчезают книги, читая которые, дети плачут не от страха, а от жалости. Над Федориным горем можно было поплакать и Муху-Цокотуху было жалко. А Тома Сойера, Гавроша, Овода? Над чем будут плакать сегодняшние юные читатели? Над компьютерными играми, над жуткими боевиками и триллерами, которые не сходят с экранов?.

Это ведь очень важно – научить ребенка плакать, сопереживать другим, проникнуться жалостью, которая является синонимом любви. Великий философ нашего времени, мой друг Мераб Мамардашвили сказал: «С плача по умершему начинается человек». То есть – с сострадания. Сегодняшняя литература чаще вызывает не сострадание к че-

ловеку, а ужас перед ним, не соболезнавание, а потрясение кошмаром, происходящим в человеке и с человеком.

Я не приемлю такую эстетику и верю в то, что мы непременно вернемся к тем традициям, которые были всегда присущи мировой литературе и русской литературе в особенности.

Сегодняшние дети разучились сострадать. Недавно видел по телевидению передачу, в которой ребятишкам задавали обычный вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Банкиром, предпринимателем, богатым человеком – отвечали дети. Не космонавтом, не путешественником, не Робин Гудом! А один мальчик сказал: «Хочу быть президентом». – «А что ты будешь делать, когда станешь президентом?» – «Летать на своем самолете в гости к другим президентам и куда захочу». – «А старикам ты будешь помогать?» – «Не-а». – «А бездомным детям?» – «Не-а». – «Тебе не жалко их?» – «Не-а».

Ну, что тут скажешь? Я был удручен невероятно. И у меня есть серьезные претензии к моим коллегам-литераторам, к детским писателям в первую очередь. Не думайте о легкой славе, о прибыли, не старайтесь быть современными в угоду дурному вкусу. Это все вне литературы. Думайте о детях, об их будущем. Не пишите триллеры, пишите добрые сказки, пишите книги, которые можно читать детям перед сном.

Может, этот заветный процесс – чтение вслух – скоро канет в Лету. И дети даже не будут знать, чего они лишились, потому что в их жизни этого никогда не было?

Конечно, нельзя остановить технический прогресс. Компьютеры, видеоманитофоны и другая техника, в которой я не очень разбираюсь, скоро, наверное, придут в каждый дом. И это хорошо. Но они не должны прийти на смену книге.

Книга – это особый мир, особое состояние души, это ни с чем не сравнимое наслаждение. Ни с чем. Чтение было для меня огромным счастьем в детстве, даже недолгое мое мучение в хедере не шло ни в какое сравнение с той радостью, какую в те трудные для меня дни дарили мне книги. Взрослым мужчиной я мог променять свидание с женщиной на чтение интересной новой книги, во всяком случае, если книгу дали на одну ночь, то выбор всегда был в пользу книги. Я вовсе не был пуританином, нет, но чтение было моей страстью всю жизнь. Позже литература стала моей профессией, но читателем я оставался всегда.

Я и сегодня помню первую библиотечную книгу, которую прочитал в детстве, когда в Горках, в бывшем Дворянском собрании открылась библиотека, – это был «Овод». Сначала я чуть было не заплакал от обиды, подумав, что библиотекарша, нисколько не считаясь с тем, что я к этому времени был (считал себя) начитанным мальчиком, перечитал множество толстых приключенческих книг, сунула мне первую попавшуюся книгу про насекомых, которые совсем не интересовали меня. Я открыл ее тут же, в библиотеке, и вскоре уже плакал по-настоящему от жалости к себе или к Артуру – я уже не мог разделить нас. Мне кажется, я помню эту книгу наизусть. И множество других прекрасных книг, прочитанных за долгую жизнь. И, кстати, эта память о прочитанных книгах помогала мне в лагере. И о новых книгах я мечтал. О новых городах. О новой жизни... О новой жизни, которая, может быть, случится когда-нибудь, если удастся выйти на свободу.

Советская власть почти с первых своих шагов применяла репрессивные меры к литераторам, деятелям культуры вообще. Причем кто только не попал под этот молох. Иногда истовые певцы и пропагандисты нового строя. Обвиняли за «формализм» в музыке, поэзии, живописи, за «уход от действительности», за «клевету на действительность». Пус-

тые, абсурдные формулировки. Но людей наказывали: отлучали от дела, сажали, расстреливали. Чем вы это можете объяснить, чего боялась власть, чего хотела?

Я задаю себе эти вопросы всю жизнь. И мучительно ищу ответа. И не только я, многие честные люди задумываются над этим, пытаются докопаться до сути. Мы должны это понять, чтобы никогда не допустить повторения этого беспримерного геноцида против собственного народа, проводимого с параноидальной настойчивостью, жестоко, планомерно в течение долгих лет. Были уничтожены люди, которыми страна должна была гордиться, которые могли внести огромный вклад в ее процветание, был уничтожен весь «цвет нации», люди наиболее работающие, инициативные, честные, талантливые в разных областях. Ни одно государство в мире не знало ничего подобного сталинскому геноциду. Говорю это как историк, хорошо знакомый с разными периодами мировой истории.

Я не специалист-политолог, не аналитик, но мне думается, вывод напрашивается сам собой: политические репрессии против деятелей культуры вытекают из самой сущности тоталитарного строя. Жесткий тоталитаризм не терпит ни нейтралитета, ни даже покорности. Он добивается полного контроля над действиями и над мыслями людей, полного зонбирования, как сейчас сказали бы.

Вспомните знаменитый вопрос Алексея Максимовича Горького: «С кем вы, мастера культуры?» В нем уже слышалась скрытая угроза – нужно было публично определить свою позицию. Маяковский в 1927 году пошел еще дальше, фактически заявив ультиматум всей творческой интеллигенции: «И кто сегодня поет не с нами, // Тот против нас». Это стихотворение формально было адресовано Шалапину, и большинство литераторов не восприняли его как серьезную личную угрозу. Хотя слова «тот против нас» можно воспринимать, как синоним

слова «враг». И совсем уж немного оставалось времени до страшных и откровенных слов Горького: «Если враг не сдается, его уничтожают».

Конечно, в те годы литераторы и представить себе не могли, сколь пророческими окажутся эти слова пролетарского писателя. Отчасти это, наверное, объясняется тем, что в первые годы Советской власти на деятелей культуры, на литераторов не обращали особого внимания, у партии были другие задачи. Поголовная национализация практически уничтожила частные издательства, материальное положение писателей резко ухудшилось. Многие уехали в эмиграцию, тогда еще это было возможно. Кое-кто поступил на государственную службу, иные печатали малыми тиражами свои книги и сами продавали их. Идеологическому контролю литераторы в те годы почти не подвергались. Известный трагический расстрел поэта Николая Гумилева никак не был связан с его литературной деятельностью.

Определенные надежды появились у литераторов в годы относительной либерализации режима во время нэпа. Вновь открылись частные издательства, возникли различные литературные группы, объединения, разные литературные направления, появились новые издания – картина была чрезвычайно пестрой и интересной. В эти годы стал выходить толстый журнал «Новая Россия», на обложке которого было написано «беспартийный литературный и общественно-политический журнал», и слово «беспартийный» не было бравадой. На страницах этого журнала появлялись произведения, содержащие критику большевистской диктатуры, а порой и прямое идеологическое противостояние коммунистической идеологии. Евгений Замятин, Михаил Булгаков были активными авторами этого издания.

Однако этот период оживления литературной жизни был недолгим. Окончание нэпа означало переход власти к всеобщему наступлению на либеральные традиции в литературе. В противовес еще существующим самостоятельным писательским организациям был создан РАПП (Российская ас-

социация пролетарских писателей), главная задача которого состояла в том, чтобы жестко проводить партийную линию в литературе, выявляя и преследуя всех инакомыслящих. Блюстители идеологической чистоты всех литераторов разделили на политические категории по благонадежности: «внутренние эмигранты», «попутчики» и т. д. Теперь мы знаем, что это были «цветочки» – скоро, уже совсем скоро деятелей литературы без всяких иносказаний будут открыто называть свиньями, шакалами и другими бранными словами – по радио, со страниц газет и журналов, на открытых и закрытых собраниях. Слов выбирать не будут, об этике и приличиях не вспомнят. Скоро уже деятелей культуры будут не только ругать, но и расстреливать за их «неправильное» творчество, за явное или скрытое неподчинение коммунистическому диктату.

Окололитературные прихлебатели в своих журнальчиках «На посту», «На литературном посту» яростно требовали от всех литераторов абсолютной идеологической лояльности и клеймили каждого, кто, по их понятиям, не укладывался в это русло. Все литературные дискуссии приобрели резко политическую направленность, и все, что не укладывалось в прокрустово ложе коммунистической идеологии, объявлялось чуждым, враждебным и подлежало осуждению и истреблению.

Наступление на литературу, культуру совпало в стране со стремительным отказом от любых форм либерализма и переходом всех властных структур на тоталитарные позиции. В экономике ликвидировались остатки нэпа, в деревне шел процесс уничтожения свободного крестьянства путем «сплошной коллективизации» и специально организованного голода. Начались репрессии против технической интеллигенции, прошли первые судебные процессы «Промпартии», «Шахтинских вредителей» и другие. Среди инженеров начались массовые аресты. Была введена паспортная система, подчинившая всех граждан страны жесткому всеобщему контролю.

Именно на этом фоне всеобщей тоталитаризации страны следует рассматривать политику власти по отношению к литературе и литераторам.

Трагическая судьба большинства делегатов Первого всесоюзного съезда советских писателей не насторожила других участников? Не заставила их задуматься? В какой-то форме выразить свой протест? Или страх довлел над всеми другими чувствами?

В качестве одного из рядовых гостей я присутствовал на этом съезде, который проходил в Колонном зале Дома Союзов, и продолжался, если мне не изменяет память, около двух недель, с конца июля до начала августа 1934 года. Существует толстая книга стенографического отчета об этом съезде, где есть и списки всех делегатов, и списки и тексты всех выступлений. Это было грандиозное мероприятие во всех аспектах – по численности участников, по количеству крупных политических деятелей и идеологических работников партийного аппарата, принявших участие в его работе. Все силы, все меры были предприняты для того, чтобы продемонстрировать стране полное единение власти с писателями и народом. Это был хорошо срежиссированный и поставленный спектакль с четким распределением всех ролей вплоть до массовки.

Увы, это не помешало власти в скором времени уничтожить большую часть делегатов. Известно, что из 337 делегатов с решающим голосом были репрессированы и в большинстве случаев расстреляны 147 человек, а вместе с делегатами, имеющими совещательный голос, было уничтожено более 70% всех участников съезда.

Процесс создания культуры «национальной по форме и социалистической по содержанию» начался с уничтожения той части интеллектуальной элиты (в том числе это жестоко отозвалось на лучших представителях национальных литератур), которая подозревалась (и, надо сказать, не без

основания) в том, что добровольно она не станет «социалистической по содержанию».

По отношению к другим писателям применялся старый и хорошо проверенный метод «кнута и пряника». Писателей, ставших конформистами, и тех, кто занял позицию откровенного раболепия, щедро награждали: правительственные награды, почетные звания, огромные тиражи, которые в принудительном порядке распространялись по библиотекам и книжным магазинам всех городов и весей Советского Союза, высокие гонорары, дачи, заграничные поездки, специальные пайки, выгодные начальственные должности. По снабжению писатели этого круга приравнивались к высшим слоям чиновников, и материальное положение их соответствовало самой высокой элите. По распоряжению самого Сталина в ближнем Подмосковье, в Переделкине, был выстроен «писательский городок» с прекрасными по тем временам дачами. Власти делали все возможное, чтобы приручить писателей. Сталин иногда участвовал в писательских застольях, которые устраивал Горький. Широко был ассортимент предлагаемых благ, велик был и соблазн.

Конечно, прежде всего, власть стремилась приручить таким образом писателей, уже к тому времени широко известных. И многие сдавались, жестоко расплачиваясь за это потерей творческой индивидуальности, иногда – творческим бесплодием, иногда – вырождением в графомана. Эта трагедия постигла выдающихся писателей – Алексея Толстого, Леонида Леонова, Константина Федина, Николая Тихонова и других.

В 1937 году на смену РАППу, главному душеителю свободного творчества, был создан единый Союз советских писателей. Эта акция закрепляла полную ликвидацию свободного писательского труда и допускала одну-единственную категорию – советский писатель, то есть писатель, безусловно стоящий на позициях власти и встроенный в ее структуру. Для писателя таким звеном, входящим в государ-

ственную структуру стал Союз писателей, номинально возглавляемый М. Горьким, а в действительности – партийно-чиновничьим аппаратом. А единственно возможным творческим методом для всех работников искусства должен был стать метод социалистического реализма.

Суть этого метода приблизительно определялась так – отражение современного исторического процесса в свете идеалов социализма. И это не подлежало сомнению, не могло быть предметом дискуссий, даже устав Союза писателей однозначно требовал от своих членов «идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма». Любая попытка писателя уйти от этой чисто прагматической задачи подвергалась уничтожающей критике. Тут начинал безжалостно работать «кнут». И не важно было – приближен ты, обласкан, наделен привилегиями или нет. Привилегии не спасали от репрессий. Борис Пильняк и Исаак Бабель были арестованы на своих роскошных дачах и после страшных пыток расстреляны. Известны и другие подобные случаи. Нет, привилегии никого не спасали.

К началу 30-х годов и уехать из страны было уже невозможно. Сталин приступил к осуществлению своего кровавого плана, машина уничтожения набирала ход. К этому времени ни один писатель не мог считать себя в безопасности, каждый полностью находился во власти тоталитарного государства. И литература, и писатели были задавлены атмосферой всеобщего страха.

Трудно представить себе обстановку, более не подходящую для литературного творчества. Для любого творчества. До революции, в царской России даже официально существовало понятие «свободный художник», «свободная профессия», потому что труд писателя, художника по природе своей – изначально свободный труд. Ликвидация самого понятия «свобода» не могло трагическим образом не отразиться на судьбах художников и на их творчестве.

Для того чтобы уничтожить художника, ведь не обязательно было его убивать, существовали и существуют другие, может быть, даже более иезуитские способы. Отлучить от профессии – запретить выступать, печататься, выставляться; для большинства такое наказание смерти подобно. Можно еще изощреннее – держать под колпаком цензуры каждое слово, мысль, движение души: править, кроме, давать ценные указания, подвергать резкой критике, публичному осмеянию. Убивать морально, духовно, а не физически. Эти жертвы кто-нибудь подсчитывал?

Мы коснулись очень тонкой темы, не изученной, не исследованной. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем имена и количество тех, кто не попал в расстрельные списки, а умер так называемой «естественной смертью», попав под жернова жестокой репрессивной машины.

У меня есть очерк, который называется «Мандельштам умер естественной смертью...». Так мне ответил один молодой научный работник, занимающийся изучением эпохи «нарушения законности», – такое существует деликатное определение времени массового террора и убийств. Он возразил мне этими словами на мое заявление о том, что Мандельштама убила сталинская адская машина уничтожения. Обыкновенный образованный молодой человек, который не в состоянии понять всей глубины трагедии тех лет: не в списках, приговорах и сроках суть, хотя и они страшны. Суть – в глобальной атмосфере тотального подавления личности вплоть до уничтожения любыми способами, любыми средствами.

Разве то, что Мандельштам умер по дороге на Колыму, не равносильно тому, что власть его уничтожила? Разве он добровольно отправился в этот путь? Впрочем, не будь он сослан, тоже не известно, как бы сложилась его судьба. Вспомним судьбу Андрея Платонова, рассказ которого

«Впрок» не понравился самому Сталину, и писатель был на десятилетия изгнан из литературы. Разве это не смерти подобно?

Кстати, товарищ Сталин лично критиковал не только наших, но и зарубежных писателей. Чуть ли не личным его врагом был «слабый и безвольный принц Гамлет», именно в такой формулировке он его частенько вспоминал в своих резолюциях-откликах на произведения искусства: сравнивал не понравившегося ему героя с Гамлетом и все – вещь была зарублена. Слабые и безвольные – не наши герои.

Конечно, вовсе не обязательно было быть гениальным поэтом, известным писателем, чтобы на тебя обратили особое внимание. Не угодны были власти и талантливые рабочие, и чуть более зажиточные, чем нищие, крестьяне, преданные своему делу учителя, врачи, люди других профессий, представляющие все слои советского общества.

Но поскольку писатели составляют одну из самых малочисленных социальных групп, то потери здесь особенно ощутимы. И многие имена известны в силу специфики профессии. И специальная машина подавления всякой творческой индивидуальности протянула свои щупальца по всей стране, от нее не укрыться было нигде: не только ни одно печатное издание (учебник, брошюра, календарь), но и театральная афиша, даже просто объявление не могли выйти в свет без разрешения Главлита – так назывался этот монстр идеологической цензуры.

Главлит был вездесущ, от него не спасала ни слава, ни должность, от его карающей руки не был застрахован никто и ничто – ни новое, только что созданное произведение, ни книги, уже снискавшие славу и известность. Идеологические чистки проходили непрерывно, одна компания сменяла другую и трудно да, наверное, и невозможно было предсказать, против чего будет направлен карающий меч завтра.

Так, во время бурной антисемитской компании остракизму подвергся известный, ставший почти хрестоматийным роман «Разгром» одного из самых лояльных советских пи-

сателей Александра Фадеева. Причина? Еврейская фамилия главного героя романа – Левинсон. Аналогичным образом подверглась уничтожающей критике за стремление опорочить украинский народ поэма Эдуарда Багрицкого «Дума про Опанаса». Причина – в том же: положительный герой поэмы – еврей Коган, а отрицательный герой носил украинское имя.

От варварского, циничного вмешательства в творческий процесс, от стилевых и идейных «поправок» не были избавлены даже самые известные писатели. В статье, посвященной столетию со дня рождения Всеволода Иванова, его сын, известный филолог Вячеслав Иванов вспоминает: «Ощущение сломанности, а то и полной перерезанности писательского пути к читателю у Всеволода Иванова к концу жизни нарастало...» Мы уже говорили о том, что уродовались и запрещались в угоду политической цензуре произведения, которые считались советской классикой. Из воспоминаний сына Всеволода Иванова ясно, что такой «обработке» подвергалась и повесть «Бронепоезд», которую тоже «подчищали», чтобы она соответствовала жестким требованиям стандартизации, лежащим в основе метода социалистического реализма.

Из всех этих примеров (а их можно было бы привести немало) видно, что если писателя в силу его широкой известности не подвергали прямым репрессиям в форме расстрела, ареста, ссылки, то его творчество было под неусыпным контролем государства, безжалостно и бессовестно коверкалось, и путь к читателю всегда был тернист. Иногда Главлит оказывался непреодолимой преградой на этом пути.

Жертв морального террора среди работников культуры в тот период было очень много. Общеизвестна судьба Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Михаила Зощенко, Михаила Булгакова... Их устно и в печати травили и клеймили, навешивая разные ярлыки, по сути за то, что они не желали отказываться от своих художнических взглядов и задач. Отлученные от профессии, они вынуждены были жить в нище-

те и, что может быть еще страшнее, – в положении отверженных. Опасно было не только выступать в их защиту, выражать им симпатию, проявлять интерес, но даже и просто здороваться, разговаривать, заходить в их дом.

Выдержать такую ситуацию было очень трудно – такая была цена, которую приходилось платить художнику за стремление сохранить свою индивидуальность. Об этом же свидетельствует и судьба великого композитора Дмитрия Шостаковича, который выстоял в своем творчестве, сохранил свой музыкальный язык и свое отношение к трагической действительности. Но за это ему пришлось долгие годы носить маску конформиста со многими негативными последствиями, вытекающими из этого обстоятельства. Слишком яркая личность была, слишком на виду. И жизнь этого большого и мужественного человека была полна трагизма, нравственных мук, всю глубину которых мы смогли узнать, благодаря его близким, лишь недавно, через много лет после его смерти.

Собственно, это происходило со всеми большими художниками во всех областях искусства. В стране, которая была родиной художественного авангарда и этим обогатила мировое искусство, были преданы анафеме такие художники, как Малевич, Шагал, Кандинский, Родченко... Абстрактная живопись, оболганная, обруганная, надолго стала нелегальной. Но и такие выдающиеся живописцы, как Фальк, Лентулов, Штернберг и другие, хоть и были безусловными реалистами, фактически находились под запретом, потому что их никак нельзя было подвергать под метод «социалистического реализма». А это означало, что их нигде не выставляли, никто не приобретал их работы, и они были вынуждены владеть такую же нищенскую жизнь, как и их литературные собратья.

Но все же – несмотря на все репрессии, на адскую изоциренность методов подавления личности были непокорные, тайком писавшие «в стол». Ведь были?

Были, конечно, были. И те, которые тайком переписывали, перепечатывали, хранили бесценные рукописи, рискуя своей жизнью.

Были писатели, не писавшие свои сочинения на потребу, чтобы получить одобрение властей и награду за преданность, они занимались тайным сочинительством. Возможность выразить в своем сочинении свои мысли и чувства – для настоящего писателя жизненная необходимость, насущная потребность, главный смысл его жизни. И они писали «в стол», без попытки опубликовать свое произведение и даже без надежды на то, что оно когда-нибудь дойдет до читателя.

Общеизвестна трагедия, постигшая наиболее выдающийся роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», – КГБ арестовал не только рукопись романа, но и все его копии, и копировальную бумагу, использованную при перепечатке. Все попытки писателя добиться получения хоть одного экземпляра романа ни к чему не привели. Только один экземпляр, чудом сохраненный друзьями писателя, был тайно вывезен за границу и опубликован через шестнадцать лет после смерти Василия Гроссмана. Неудивительно, что свое последнее произведение – «Все течет» Гроссман писал в глубокой тайне и рукописи тщательно прятал.

Кстати, когда я начал писать свои лагерные воспоминания уже в более поздние годы, думать об их публикации тоже было по меньшей мере глупо. И все-таки я бы sluкавил, если бы сказал, что втайне не надеялся на то, что эти рукописи когда-нибудь дойдут до читателя. Иначе зачем я, как последний дурак, прятал их в диван – уж мне ли было не знать, что в диване найдут обязательно.

Впрочем, о литературе, создаваемой подпольно, можно долго не говорить, достаточно назвать хотя бы три ярких имени: Александр Солженицын, Андрей Синявский, Юлий Даниэль.

Неудивительно, что уже в 90-е годы, когда исчезла цензура и страх перед КГБ, было опубликовано немало интереснейших произведений, которые годами, десятилетиями

лежали в ящиках письменных столов писателей или других «тайниках», вроде моего дивана. Многие авторы не дожили до этого часа, но это их усилиями, талантом и мужеством создавалась своеобразная летопись времени – страшной эпохи тоталитаризма. И пусть они не дожили до тех дней, когда их книги встретились с читателем, но ведь встретились. Значит, не зря писали в стол, значит – не зря.

К сожалению, мы не можем сказать, что репрессии против писателей проводились только в период сталинщины, Нет, уже после короткой хрущевской «оттепели» репрессии возобновились в самых разных формах, разве что массовых расстрелов не было. Но в 60-е годы были арестованы и судимы за свою литературную деятельность Андрей Синявский, Юлий Даниэль, Андрей Амальрик. А широко известный позорный процесс над «тунеядцем» Иосифом Бродским! Многие были выдворены из страны и заочно лишены гражданства. Другие времена, другие ярлыки, но методы – те же. И цель одна – задушить правду, избавиться от ярких, талантливых личностей, которые могли бы стать, да и были, маяками.

А результат? Не удалось все-таки государству разрушить живую связь между писателем и читателем, не удалось. В этих условиях в Советском Союзе возникла совершенно удивительная и уникальная система, получившая название «самиздат», когда рукописи наших авторов или их книги, вышедшие за рубежом, переписывались на пишущих машинках и передавались из рук в руки. Конечно, происходило это нелегально, и на борьбу были мобилизованы немалые силы КГБ. Но, несмотря на всевозможные преследования, обыски и аресты, «самиздат» продолжал существовать, и благодаря этому с запрещенными произведениями русских и зарубежных писателей познакомились тысячи и тысячи читателей. На «самиздате» выросло не одно поколение советских людей. Именно благодаря «самиздату», а не официальной литературе, сформировалось их мировоззрение, отношение к истории своей страны, к ее прошлому и будущему. Все нынешние диссиденты, правозащитники,

истинные борцы за демократию выросли на «самиздате». Таким образом, можно сказать, что «самиздат» сыграл колоссальную роль в современной истории нашей страны. А это есть неоспоримое доказательство того, что литература формирует человека, личность и мир, в котором он живет.

Наверное, это какой-то закон природы: всякое насилие рождает противодействие.

Да, несомненно. И драматическая история советской литературы доказывает живучесть культуры, показывает, как она оказывается устойчива даже перед катком тоталитарного режима. Без сомнения достойно удивления и восхищения, что, несмотря на все усилия тоталитарного государства подавить, искоренить свободное творчество писателей, в эти страшные годы в стране жили и, невзирая ни на что, создавали великие духовные ценности многие замечательные поэты, прозаики, публицисты.

Действительно, литературу нельзя отлучить от читателя, и читателя от литературы. Существует какая-то неразрывная связь, это факт: писателей уничтожали, подавляли, ссылали, высылали из страны, книги изымали, запрещали, истребляли, жестоко преследовали и наказывали тех, кто хранил и распространял запрещенную литературу. Но посмотрите на сегодняшние книжные развалы – глаза разбегаются, душа ликует: все есть, абсолютно все. И возникают новые издательства, и издаются новые книги...

Недавно мне сказали, что готовится к изданию большой том «Антология самиздата XX века». Я думаю, это будет замечательное издание. И примечательное, знаковое: не горят рукописи...

Ведь были времена, когда и книги подвергались преследованию и уничтожению на бумажных мельницах. Спе-

циальное ведомство регулярно составляло и рассылало по всей стране списки книг, запрещенных к распространению и пользованию, которые следовало изымать отовсюду, в том числе из библиотек. В их числе были книги как дореволюционные, так и изданные совсем недавно. Страдала не только отечественная русская, советская литература, но и иностранная. Стоило какому-нибудь западному писателю – пусть и самому знаменитому – выступить со статьей или интервью даже с намеком на неодобрение некоторых действий советского правительства, как тут же его книги не только запрещались к изданию, но и изымались из библиотек. Если автор книги, или предисловия к ней, или даже редактор были арестованы или оказывались под подозрением, книга тут же попадала в проскрипционный список. Эти списки, регулярно исходившие из цензурного ведомства, состояли из сотен наименований книг. Из центральных библиотек Москвы и других крупных городов эти книги сдавали в специальный отдел «спецхран» и получить их оттуда было чрезвычайно сложно, даже если это были труды Маркса или Ленина, изданные под редакцией лиц, ставших одиозными.

Под страхом, что у тебя обнаружат запрещенную книгу, люди производили и чистку своих домашних библиотек. Московские помойки в те страшные годы были завалены прекрасными книгами. Немногие смельчаки составили из этих книг уникальные домашние библиотеки. Кстати, в те годы совершенно исчезло такое всегда интересное явление, как уличный книжный развал.

Сегодня все вернулось к читателю. Я вижу в этом знак хоть какого-то искупления, возмещение ущерба, нанесенного нашей культуре. Возвращаются книги, выплывают из небытия, иногда из полного забвения прекрасные имена людей, приоткрывается завеса, скрывавшая от нас их судьбы, трагедию, их мысли, борьбу. Выходят книги с восстановленными купюрами, когда-то сделанными цензурой, с комментариями, с найденными в разных архивах (в том

числе и в КГБ) изъятыми материалами, документами, фотографиями, репродукциями.

Первый глоток такого книжного изобилия мы сделали в 60-е хрущевские оттепельные годы, когда на вновь возродившихся книжных развалах всего за 1 рубль можно было купить Михаила Булгакова, Юрия Олешу, Марину Цветаеву, «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына, Андрея Платонова, Бориса Пастернака, Анну Ахматову... Голова шла кругом, дух захватывало.

Сегодня я, к сожалению, уже не могу ходить по книжным магазинам, лишен этого удовольствия. Но мне приносят, показывают, дарят, рассказывают о многих замечательных новинках – о восстановленных, возобновленных, репринтных, впервые изданных самых разнообразных изданиях. Какие книги! Голова идет кругом, хочется подержать в руках, посмотреть, читать, перечитать.

Я счастлив, что дожил до этого времени нового книжного бума. Появилось много маленьких частных издательств (и не очень маленьких), которые издают на свой вкус: разные взгляды, разные пристрастия, нет никаких циркуляров, никаких руководящих указаний, планов – это замечательно. Ведь кладезь мировой литературы неисчерпаем. И это порождает разнообразие книжного рынка. Конечно, есть много пены, и меня раздражают и низкопробные полуграмотные детективы, и дурно переведенные «дамские» романы в безвкусном оформлении, и всегда с альковным привкусом исторические романы, и если о Сталине, то «Я была любовницей Сталина» (или Берии), и в том же духе – все на потребу дешевому вкусу. И все же – это не главное, пена, как всякая пена, растает, но книги издаются и хороших все равно больше. А значит, вкусы сформируются, книжный рынок станет более цивилизованным. Главное, безусловно, то, что книги издаются, их покупают, читают. Надеюсь, что теперь так будет всегда. Это одна из составляющих той свободы, которую мы завоевали и отстаиваем в последнее десятилетие уходящего века.

А что нам делать с мифом о великой многонациональной советской литературе? Куда это подевалось, что происходит и как это будет развиваться?

Почему литература должна быть многонациональной? Я не понимаю. Существует прекрасная французская литература, английская, латиноамериканская. Если в Эстонии, Литве или Туркмении появится большой писатель, великий поэт – он станет общемировым достоянием. Здесь не нужна никакая классификация, это естественный процесс взаимного обогащения. И никто не может им управлять. Нельзя запланировать количество гениальных писателей по регионам, областям, странам. Никому не известен и неподвластен механизм появления гения. Ни общее министерство не поможет, ни всемирный союз писателей.

А вот взаимное влияние – да, это очень важно. Хемингуэй говорил, что его не было бы, не будь Чехова.

Мы знаем, какое огромное влияние оказала на западную литературу, западную философию русская литература, русская философская мысль. И наоборот, разумеется, тоже.

Литература и культура развиваются по своим законам, дополняя друг друга, создавая общую, подробную, разнообразную, захватывающе интересную картину мира.

Что вы можете сегодня сказать о «толстых» журналах, излюбленном нашем чтении в прежние годы – они вам по-прежнему интересны? Какие-то новые тенденции в современной литературе близки вам?

К сожалению, я не слежу последние годы за «толстыми» журналами, не выписываю их, читаю от случая к случаю и о сегодняшней литературе не могу судить объективно, во всей полноте, как раньше, когда читал все. Меня огорчает, что нет в сегодняшней литературе ни одного произведения, большого, значительного о нашей современности, о том, что происходит в стране и с людьми в последние десять

лет. Какое время! Чего только не было в моей жизни, но сегодня думаю, что не знаю времени более интересного и напряженного, нежели наше. Но я не вижу отражения этого времени в литературе, не вижу. Боятся ли писатели или просто ушли в политику, и литература отошла на второе место. Или наоборот – ушли от политики и от сегодняшнего дня в историческую тематику или какие-то другие миры, где черт знает что придумывают и творят. А мне это не интересно. И читаю публицистику, мемуары, документальную прозу. И мне кажется, что как читатель я не одинок.

Конечно, сегодня о сегодняшнем писать непросто, через годы будет легче это сделать, когда это уйдет в жанр исторической литературы. И все-таки я с надеждой просматриваю списки новой литературы в «Книжном обозрении» и читаю литературные обзоры, я еще надеюсь прочитать хороший роман о последнем десятилетии уходящего XX века.

Есть еще одна черта в современной литературе, которую я не приемлю – то, что называют «чернухой». Я и в театры перестал ходить, потому что и там то же самое – я называю это «театром ужаса». Мне такой театр не нужен.

За книгу «Позавчера и сегодня» меня кое-кто укорял, что при всех трудностях и трагичности прожитой жизни, я описываю одни лишь радости детства, отрочества. Я, честное слово, мог бы написать и о жалкой нищете, в которой мы жили, и о том, как война нас перебрасывала из одного конца России в другой, обо всех тяготах этих перемен. Я мог бы вспомнить не двух-трех, как я это делаю, а почти всех моих друзей и родных, закопанных в общей яме (которые у нас почему-то принято называть теплыми словами «братская могила») на городском кладбище в Горках. Я много чего тяжелого мог бы вспомнить, отчего у читателя перехватывало бы дыхание и замирало сердце.

Но я хочу сказать, что нельзя жить одной чернотой жизни, нельзя жить, вспоминая только страшное. Ибо

кроме страшного и самого страшного в жизни есть и другое. И не нужно считать, чего в ней больше, это не поддается сравнению. Горе безгранично, но и каждое мгновение счастья огромно.

Вот, к примеру, я очень люблю ваши рассказы и всегда читаю их с большим интересом – они хорошо написаны, глубокие, тонкие, психологически очень верные. Но почему всегда такие трудные, почему?

Я не делаю это специально, не хочу никого напугать или шокировать, не стараюсь угодить читателю. Может быть, я в своей прозе, чересчур откровенной, действительно, перехожу некую черту, за которую люди не хотят заступать в целях самосохранения. Но жизнь ведь, в самом деле, довольно трудная игра, сыграть ее по предлагаемым правилам не каждому по силам. И я пишу так потому, что так сложно и напряженно переживаю человеческие отношения во всех их проявлениях. Разве я не права?

В том, что отношения между людьми – это штука не простая, правы, конечно. И это всегда было предметом литературы, во все времена. Любовь, ненависть, зависть, ложь, верность, предательство, самоотверженность – столько всего намешано. И все-таки я бы хотел, чтобы и в вашей прозе, и в прозе вообще, и в том выпуске альманаха «ДИАЛОГ», который мы с вами сейчас готовим, кроме черноты жизни, ее кошмаров и катастроф, звучала бы и ее озаренность, и ее красота.

И надежда.

Раз уж вы упомянули альманах «ДИАЛОГ», скажите, пожалуйста, несколько слов о нем.

С удовольствием. Держал в руках второй выпуск альманаха еврейской культуры «ДИАЛОГ» и радовался – у

нашего диалога есть продолжение. И надеюсь – будет. И мне посчастливится не только подержать в руках, но и почитать третий и четвертый выпуски нашего альманаха. И знать, что будут еще.

«ДИАЛОГ» – очень благородное, нужное, достойное издание, невозможное раньше. Боже мой, десять лет назад мы и мечтать об этом не могли: ежегодный альманах еврейской культуры. А сегодня он есть, он состоялся – оживленный, порой страстный и всегда захватывающий разговор писателей, поэтов, философов, историков самых разных стран, направлений, эпох. Их всех объединяет самый предмет споров и разговоров, размышлений и воспоминаний – судьба еврейского народа, его прошлое, настоящее и будущее, судьба его культуры и искусства, его связей с другими народами и культурами. Никто из многочисленных участников этого оживленного разговора, растянувшегося на пятьсот страниц, не навязывает нам своего мнения, все преисполнено уважения к историческому прошлому, к современным взглядам и течениям, друг к другу и к читателю.

Без преувеличения можно сказать, что «ДИАЛОГ» представляет собой новый вид литературного издания, интересно задуманного и талантливо осуществленного. В этом его непреходящее значение. И я благодарен вам за то, что вы пригласили меня принять участие в этом издании.

А я вам – за помощь и поддержку, вы – мой самый главный помощник.

ГЛАВА 4

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ РАЗГОН



Писатели не бывают звездами.

Звезда сцены, звезда эстрады, кинозвезда, даже звезда шоу-бизнеса. Да.

А вот звезда пера – нет, не проходит. Не бывает.

Однако звезде, оказывается, можно присвоить имя писателя. Можно присвоить – и присвоили. 90-летие Льва Разгона оказалось его звездным часом, в самом прямом смысле слова: он стал счастливым обладателем новой звезды в созвездии Овена. С тех пор они принадлежат друг другу – Лев Разгон и звезда по имени Лев Разгон.

Правда, Лев Эммануилович так и не смог решить, что ему с этой звездой делать. И фрагмент карты небесных светил, одно из коих перешло в его собственность, держал в тумбочке. Там же долгое время хранил роскошный сертификат в роскошной рамочке на право владения космическим объектом, пока не повесил над своим изголовьем.

И мы частенько смеялись по этому поводу.

Зато у него есть звезда-тезка и у нас с вами есть звезда, которую зовут Лев Разгон.

Даже теперь, почти год спустя после его ухода, мне не хочется говорить о нем – был.

Мы почти 10 лет нежно дружили с Львом Эммануиловичем. Я его любила как отца – они с моим папой одноклассники, и многое из его местечкового горецкого детства кажется мне знакомым, узнаваемым через моего папу, через историю нашей семьи. Наверное, это и есть общая память народа. И я плачу вместе с Разгоном над «братской» могилой в городе его детства, в которой похоронены не мои, а его родные –

«тетя Хая с мужем, тетя Гита с дочерьми Верочкой и Саррой, с девочками-внучками», все его школьные товарищи и соседи – Муравины, Вильнеры, Хаиты, Гольдберги, все его детство. И мое тоже, хоть и родилась после войны. Но я все это знаю, помню, и душа моя болит от скорби и тревожного предчувствия возможной беды.

Я люблю Льва Разгона как отца, но я немного и влюблена в него и не раз, в том числе и публично, признавалась в этом. Что ж тут удивительного – в Разгона все влюблены. Но я особо дорожу и горжусь нашей дружбой. Мне ее очень не доставляет. Я тоскую без Льва Эммануиловича, как можно тосковать по близкому, родному человеку. Я его не вспоминаю, не думаю о нем – мне его не хватает. Не хватает его голоса в телефонной трубке. Ведь раньше если день-другой не разговаривали, он звонил мне и говорил:

– Что-то я давно не слышал ваш голос...

И чувствовала себя виноватой, как раньше перед папой, за то, что вечно не хватало времени – не кормить и обихаживать, а посидеть, держа за руку и просто поговорить. Так мы держались с папой за руки в реанимационном больничном боксе, откуда он уже не вышел, крепко-крепко, чтобы удержать друг друга.

Так держал меня за руку и Лев Эммануилович в полслереанимационной палате больницы на Красной Пресне, куда загремел с инфарктом сразу после шикарного банкета, который справила писательская братия по случаю его 90-летия. Он обеими руками, заплывшими темными, похожими на чернильные пятна, синяками от уколов, гладил мою загипсованную тогда руку и говорил, тихо и грустно:

– Я ведь чуть не умер позавчера... Всерьез попрощался с жизнью. И с вами попрощался...

– Что же вы мне сказали?

Я пыталась шутить сквозь слезы, но бравада давалась нелегко.

– Жаль, сказал, что я вас больше никогда не увижу, сказал, что мне бы хотелось, чтобы вы еще не раз сидели рядом со мной в кресле у окна, на вашем законном месте, чтобы мы пили кофе и разговаривали... Не много, но и не мало, когда кажется, что это уходит насовсем.

Пересилив спазм, спрашиваю:

– Почему кофе, а не водочку?

Он посмотрел на меня виновато и сказал:

– Ни малейшего желания...

И пожал плечами – мол, от меня не зависит.

– Ну, Лев Эммануилович, теперь я вижу, что вы действительно больны.

И мы рассмеялись, заглушая тревогу и грусть. И он гладил мою нетрудоспособную руку и говорил утешительные слова: все пройдет, говорил он, снимут гипс, и вы снова будете писать свои замечательные рассказы и каверзные вопросы для меня, а я буду выдумывать умные ответы и делать вид, что все знаю и понимаю.

И я молилась за него, как совсем еще недавно молилась за моего папу, – не могут они оба сразу покинуть меня. Папа ушел. Лев Эммануилович должен остаться.

И он тогда выздоровел. И ему подарили звезду из созвездия Овена.

Даниил ДАНИН
**ПЕРЕЖИТОЕ
И ПОНЯТОЕ**

Вместо предисловия *

Эта книга достойна удивления. Как и судьба ее автора.

Сначала о судьбе...

Ему было еще тридцать, когда в 1938 году с ним случилось то, что по тем временам в жизни происходило гораздо чаще, чем на страницах романов: в проклятое одночасье он был осужден на долгие годы глухих лагерей и ссылок. Молодой, он принял мученичество ни за что. И казалось – навсегда.

Ему стало уже восемьдесят, когда в 1988 году с ним приключилось то, что во все времена гораздо реже происходило в жизни, чем на страницах романов: в прекрасное одночасье его на долгие годы позвала под свое крыло заслуженная литературная слава. Старый, он был вознагражден за верность жизни, несмотря ни на что. И на сей раз – в самом деле, навсегда.

Вот теперь о книге...

В ней-то все дело. Даже первая скромная публикация – в марте 1988-го – короткого рассказа из этой книги действительно в одночасье сделала имя Льва Разгона широко известным далеко нашей детской литературы, на попроще которой он с успехом работал до своего ареста и после реабилитации.

Легко понять, почему на всех произвел сильнейшее впечатление тот рассказ – «Жена президента». В нем с непрекаемой достоверностью открылась едва ли не самая неправдоподобная черта в чудовищной картине сталинского произвола. Многими почитавшееся плодами «непроверенных слухов» или «ненужных преувеличений» теперь проступило как вопиющая реальность: тюремно-лагерный удел

* К первому изданию книги Льва Разгона «Непридуманное», 1988 г.

ни в чем не повинных жен или других близких родственников руководителей партии и страны – Молотова, Кагановича, Ворошилова, Шверника... – преданнейших сподвижников Сталина. «Этот список можно продолжить... – прочитали мы в рассказе. – И ничего не было удивительного в том, что арестовали жену и у Калинина». Она оказалась в том же лагере, что и Лев Разгон. И потому не с чужих слов и отнюдь не по слухам поведал он о каторжной участи супруги нашего «Всесоюзного старосты», каковой бессилён был выручить ее из беды!

Поразительно предисловие автора: «И ничего не было удивительного в том, что...» Каково, а? Сколько тут горчайшей иронии! И вдруг пронзает ясное понимание происходившего: да ведь Сталин, в постоянном страхе за свою неправомерную диктаторскую власть, просто превращал в заложников собственных соратников – других «вождей народа»!

...Этот рассказ – как бы модель всей книги. Вот поэтому, а не только потому, что он явился первой мемуарной публикацией Льва Разгона, стоило вникнуть в его значение. А еще в книге 14 вещей, разных по объему, но равных по безукоризненной правдивости. И – если позволено так выразиться – равных по своей историко-психологической существенности. Это – главное. Книга обогащает наши представления о советском обществе эпохи сталинского всевластия.

Все, что в ней написано, – без малейшего исключения! – идет в копилку исторической памяти народа. О немногих книгах можно, не обинуясь, высказать такое суждение. Оно, это похвальное суждение, тем более справедливо, что книга по праву носит название «Непридуманное»: в ней доподлинны все имена, все даты, вся топонимика, разумеется, все события.

Но читая разгоновское «Непридуманное» страницу за страницей, начинаешь ощущать еще и второй смысл названия книги: то, что нам в ней поведано, придумать было нельзя. Попросту говоря – нельзя!.. Так же, как строго документальна история Екатерины Ивановны Калининой, так

протоколно точна история ее солагерника – незадачливо-го афганского принца, самоотреченно и губительно для себя любившего русскую женщину. Так же, как в Бутырской тюрьме 38-го года перед молодым историком Львом Разгоном въявь и на равных предстает историческая личность – друг последнего царя адмирал Михаил Рощаковский, так на лагпункте 41-го, тоже въявь и тоже на равных, предстает перед ним другая историческая личность – заместитель начальника нашего Генштаба комкор Николай Лисовский... Нет-нет, эдакие скрещения судеб могут быть только непридуманными, как и само жите-е-бытие «политических заключенных».

«Повесть в рассказах» – начертано на титуле книги. Не совсем обычно, но очень точно. Нелепо было бы эти рассказы взять да и перенумеровать, как главы в традиционном повествовании. Они не связаны общим сюжетом, и герои не переходят из рассказа в рассказ. И время действия меняется от рассказа к рассказу вполне произвольно, и место действия – география – тоже. Но один герой присутствует на каждой странице книги – это автор. И у временного разнообразия есть все же четкие рамки – это 17 лет лагерей и ссылок, пережитых автором (1938 – 1955). И у географии есть своя принудительная особенность – это архипелаг ГУЛАГ. Посему независимые рассказы выстраиваются в единую повесть – цельную, печальную и замечательно жизнелюбивую.

Лев Разгон двадцать лет писал свою книгу, не зная, что пишет книгу. Переходил от темы к теме, от сюжета к сюжету, от героя к герою непреднамеренно. И не вмешивались в его тихую работу суетные литературно-политические соображения или редакционно-издательские повеления.

Давно было сказано: «Пепел Клааса стучит в мое сердце». Только этот трагический голос пережитого время от времени настоятельно звал его к письменному столу. И не ставил никаких сроков, и ни к чему не обязывал, кроме как к беспощадной честности в осмыслении былого. Но именно

поэтому, постепенно накапливая со второй половины 60-х годов свою мемуарную книгу, Лев Разгон до середины 80-х никогда не помышлял об ее издании: она была бы не ко двору в эпоху всеобщего хвастовства нашей мнимой «зрелостью социализма».

Иногда он читал свои рассказы близким друзьям. И должен был довольствоваться вниманием узкого круга современников, благодарных ему за обнажение исторической правды, чья терпкая горечь живительней для души, чем сладость утешающей неправды.

...Однажды друг Булгакова Сергей Ермолинский вспоминал, как говаривал Михаил Афанасьевич о книгах, написанных «в стол»:

– Мы живем в стране чудес! И верьте – придет день, когда вам позвонят из редакции и скажут, что они прослышали, будто у вас есть «опасная рукопись», так нельзя ли с ней познакомиться на предмет скорейшего опубликования?..

Лев Разгон дождался такого звонка. И вот его книга, написанная «в стол», лежит на твоём столе, читатель!

Юлий КРЕЛИН
**ОН ИЗБЫЛ
СВОЮ МИССИЮ
НА ЗЕМЛЕ**

Как странно... Вспоминаю Леву и ни одного серьезного разговора. Только и помнится мне смех, насмешки, байки из ушедшего времени. А вместе с тем узнал я от него много нового и серьезного, и сурового и важного. Ведь говорил о тяжелых, даже страшных вещах, о сложности своей судьбы, о неожиданных поворотах в пути от начала века до его конца, от начала своего почти до последних дней своей жизни. Они почти сверстники и ровесники – XX век и век Льва Эммануиловича Разгона. А что ж мне помнятся лишь веселый Левин глаз, добрая, почти постоянная улыбка, смех, застольные разговоры? А вот в том-то, наверное, и сила добра, что оно не имеет вид суровый. Кто же это придумал, что добро должно быть с кулаками. Леву пропустили сквозь многокулачный строй, и он про всё говорил с улыбкой. Добро всё равно победит, правда, порой и с опозданием. Лева дождался долгожданной победы. Но он дождался лишь начала шествия этого долгожданного, а нам, со своей улыбкой приказал долго жить, чтоб мы еще могли посмотреть, как оно, добро, шагает. Впрочем, я не прав – добро не побеждает, оно приходит. Злу нужна только победа и обязательно после драки. А Лева не дрался – он жил, раздавал улыбки, рассказывал веселые байки прошедшего кровавого века, чем тоже торил дорогу добру.

Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. И в результате, он и оказался тем счастливым человеком, который при жизни слышал, обращенные к нему, слова, что говорят, в основном, лишь, когда человек умрет – на похоронах, на поминках. Каждому бы хотелось услышать при жизни те комплиментарные славословия, которые почему-то придерживают для последнего прощания, когда сам герой уже не

сможет ни услышать, ни отреагировать. Не каждому дано. Разгону было дано. Он пожал, что сеял все последние две трети своей жизни.

А начало жизни – в глухом, невежественном, полуголодном местечке. Затем в Москве, соблазненный утопическими прельщениями, он через комсомол верно служил той безнравственности, которая была освящена словами пророка только что рожденного режима, будто нравственно то, что полезно делу рабочего класса. Как Раскольникову на каторге, так и Лева пришло прозрение на островах архипелага, определявшего жизнь страны, а может, и остального мира, по имени ГУЛАГ. Всей своей последующей жизнью он отмаливал грехи молодости.

Многие, пройдя тлеющий, но сжигающий огонь наших перемен, сточные воды системы и канализационные трубы режима, все равно так ничего и не поняли. Так и продолжают талдычить про социальную справедливость, которую, если дробь упростить, – всего лишь одно из проявлений мести. Многие, называющие себя христианами, тем не менее не придерживаются основной заповеди «семьюдесятижды семь раз прощать», а живут в ареале мести, вежливо называемой этой самой социальной справедливостью. Лева не был правоверным иудеем, равно как и христианином, но отсутствие мстительности и терпимости многие христиане могли бы у него перенять. Также и от идеи равенства не смогли отрешиться иные из прошедших наравне с Левой тот путь по лагерям и ссылкам, что должен бы помочь понять неправду и этой сатанинской прелести. Равенства быть не может, ибо все люди разные, а потому не равные. Так, по-видимому, задумал Господь: не могут быть равными Адам и Ева, Авель и Каин, Сим и Хам, Исаак и Исав, один блондин, другой брюнет, и седая грива не сравняется с голлой головой. (Последние неравенства – это в стиле Левы, в его память.) Истинная справедливость в заработанном неравенстве.

Каждому по делам его.

Всё, что он пережил, не прошло для него пустой каторгой. Обострился его разум. Встал на путь к истине. До истины пока никто не дошел, но важно встать на верный путь к ней. На путь без мести, а беспредельного добросердечия, которое он постиг и которого достиг. Путь местечкового мальчишки, комсомольского дурачка, придуривавшегося зека к Человеку. Не всем это оказалось по силам. Ему по силам.

Он и заслужил право нести добро и право миловать в Комиссии по помилованию при Президенте.

Как ни вспомню наши встречи, а всё на первый план вылезают из моей головы наши застолья. Лева любил выпить, но никогда не бывал при этом несносным – и это не всем дано. Когда он выпивал, еще больше лучились его глаза, и шли из него добрые байки, несмотря на недоброе время. И не было в его рассказах даже повода для мести. Мне как-то возразили, что книги его и есть месть. Нет – пощечина не месть и даже не оплеуха, не удар. В книгах его о своем былом, несмотря на страшные описанные им случаи и ситуации, ни капли мести, а только Memento! – помни, да No посере – не навреди.

Вспоминаю!.. И захотелось вспомнить те его умные, ироничные и добрые байки, что слышал я и в застольях и так при, казалось бы, несерьезных разговорах. Несерьезных... а оказалось... Не все, что он видел, пережил, над чем и смеялся, и плакал, донес до читающих. Лева был великолепный рассказчик, и слушать его было веселым удовольствием. Фабула грустно-гнусная, но оранжирована доброй улыбкой. Вот, например, вспоминается мне веселая байка, что он рассказывал как-то во время нашей совместной поездки.

Был перерыв между лагерями: после войны, когда все думали, что забрезжил свет, до очередной волны террора, когда свет погас. Этот перерыв Разгон провел в полуссылке в Ставрополье. Умер кто-то из вождей-подмастерьев. (Вождь-мастер был один.) Обязательный траурный митинг в клубе, где начальником был ветеран войны, Герой Советского Союза. С полей снят и посажен в зале клуба народ. В пре-

зидиуме представители райкома – руководство этого народа. Лева сидит рядом с ветераном, ответственным за это собрание в клубе, и вдруг видит, что портрет покойного вождя перепутан и со сцены на скорбящих взирает, не покойный, скажем, Жданов, а, допустим, еще живой Шверник. Да кто ж их там знает, кому они интересны. Но коль увидят, сообразят – по тем временам за колючую проволоку угодить вполне реально. Лева шепнул ветерану про ошибку. Тот побледнел, осунулся на глазах, всколыхнулся: снять, сменить, исправить!.. Лева успел схватить его за руку: «Не сходи с ума. Молчи. Никто же не заметил. После митинга этот портрет уничтожь, будто его у тебя никогда и не было». Они сидели и слушали траурные речи. Так никто и не заметил, что перепутали всенародных любимцев, отцов, радетелей за этот народ и всё прогрессивное человечество. Да кто же их знал в лицо – этих из политбюро. И всё обошлось. Лева был уже грамотный, и тогда, как мог, уберегал людей от властей. И нынче способствует милосердию в Комиссии по помилованию. Тут и ум Левин виден и доброта, и порядочность, ироничность... Его реакции на событие и рассказ об этом были адекватны и ему, и времени.

Почти сорок лет я знаю Леву. Разница в возрасте на целое поколение не помешала нам сблизиться на «ты» и по именам. Он был удивительно душевно доступен, открыт для всех.

Несколько лет, как он вернулся в Москву. Я познакомился с ним у старого друга его и тогда, почти сорок лет тому, нового моего, Данина Даниила Семеновича. Было дружеское застолье. Это первая встреча с Левой. Какой-то реабилитированный – их тогда было много. Писал что-то детское... просветительское. Участвовал вместе с Даниным в издании просветительского, научно-художественного альманаха. Я видал лишь его книгу о большом просветителе недавнего прошлого Рубакине. О самом наболевшем и рвущемся из него еще не писал... во всяком случае, не печаталось. Писал про интеллигентов, про сеявших «разумное,

доброе, вечное». Все радовались его первой книге после отсидки. И все разговоры под рюмку и закуску, пока еще были о прошлой, допосадочной жизни детской литературы. Основные слушатели были мы, входящие, начинающие, я и Натан Эйдельман. Эйдельман, как историк, собирал все байки прошлого и записывал их в большую тетрадь, будущую большую книгу, которую, к сожалению, он так и не успел написать. Но не об этом речь. Разгон рассказывал:

Как-то маялись мы с Аркадием Гайдаром – хотелось выпить. Аркадий был весьма пьющий, да и я не отказывался от радости пить с друзьями. Аркадию должны были выплатить в Детгизе гонорар, но день был «невыплатной», а главный бухгалтер, как и подобает должности, был суров, и даже такой любимец издательства, как Гайдар, не мог его разжалобить. Классик детской, большевистской литературы, сообразуясь с правящей идеологией, считал, что цель оправдывает средства и вслед за Лениным говорил: нравственно то, что полезно нашему делу. А потому перед походом в издательство Аркадий потащил меня в зоомагазин на Кузнецком мосту, неподалеку от издательства, купил там ужа и запрятал его в портфель, к рукописям. Когда, после долгих слов и уговоров, он все же услышал ожидаемый отказ, автор «Военной тайны» выхватил змею, приставил ее к своей груди и патетически возопил: «Так пусть эта гадюка ликвидирует мою нужду!» Не устоял финансист. И мы с Аркадием хорошо отпраздновали победу.

А мы с Эйдельманом были очарованы, и с того дня завязалась наша дружба, и позволившая перейти на «ты». Душевен и доступен радостям жизни. Душевен и доступен нам. Нам, совсем тогда еще, как нынче модно говорить – несмышленишам.

До самого конца жизни он «милость к падшим призывал», работая в Комиссии по помилованию.

Доброе семя и в дерьме породит, в конце концов, добро. Гнилое зерно и в самом качественном навозе будет и дальше гнить, лишь увеличивая грязь нечистот. Вся нечисть про-

шлого слетела с него словно шелуха. Что было в него вложено отроду, вновь проявилось, и не только в его рассказах о прошедшем, но и в самой его многотрудной обыденной жизни уже после реабилитации в застойном мраке брежневской поры... А кто и дурак отроду, тот никак не уравнивается с умным. Разве что насилием.

Надо обладать большой устойчивостью, плавучестью, силой, мужеством, очень добрым характером и, разумеется, талантом беспощадно понимать и исправлять собственные ошибки, чтобы сохранить не только разум, но и чистоту восприятия мира.

Лева прожил весь этот странный, кровавый век! Собственно, даже больше. Век, как и возраст человека, понятие качественное, а не количественное. XX век – короткий век. Он начался, наверное, с четырнадцатого года, вместе с Первой мировой... Или и того хлеще – с октября семнадцатого года, когда Россия свою катастрофу сделала явлением всемирным. А кончился этот век со смертью режима, рожденного тем семнадцатым годом.

Разгон родился в девятьсот восьмом году и мальчишкой еще, по молодости и невежественности, после Гражданской войны пошел к свету, что виднелся ему впереди. Но свет был тот, что и в тоннеле, по некоторым рассказам реанимированных после смерти клинической, – этот свет предвещает, предвещает смерть окончательную. Разгон дожил и до конца этого века и сумел еще прожить в новом, трудном, рождающемся времени почти десять лет. Век был короткий, но жизней он унес, пожалуй, тысячекратно больше, чем длинный век XIX, начавшийся в 1789 году Французской революцией.

Разгон еще ребенком пережил две войны, потрясших нашу страну. Зеком, в лагере он пережил и Вторую мировую. И уже выйдя из малой зоны лагеря за колючей проволокой в большую зону «социалистического» лагеря, якобы «демократических» стран, он перенес третью мировую, «холодную» войну, окончившуюся поражением режима. Не страны – режима.

Разгон со светлой надеждой встретил падение режима и новое время. Он до конца жизни сохранял исторический оптимизм и верил, что придет покой и на нашу землю. Поэтому и сумел он не только жить в свои весьма преклонные годы, но и описать то, что тяжким камнем было на душе у него и всего нашего народа.

Он сохранил любовь к жизни, тягу к новому, молодому. Я для него был мальчишкой, моложе на целое поколение, но и теперь часто вспоминаю его «Юлик, пора выпить...», призыв к застолью, где (и там тоже) он реализовывал свою вечную (вековую) молодость. Ничто из честной жизни не было им отвергнуто. И в девяносто лет он был молод, активен, дружелюбен. И это тоже, наверно, помогло ему прожить почти целый век.

Последнее застолье его. У Лидии Борисовны Либединской. Гуляли восьмидесятипятилетие друга Дани Данина. Как хорошо, что последнее застолье с большим, давним, очень давним другом. Было это в марте года Левиной смерти. За несколько месяцев до его ухода от нас.

Я горю, что мне отныне не поговорить со старшим другом, не побалагурить с ним, не рассказать или послушать новый анекдот; некому со смехом сквозь слезы вспомнить правоохранников, противопоставлявших себя правозащитникам и всему цивилизованному миру. Родногособеседника нет.

Он полностью избыл свою миссию на этой земле. Он достойно завершил свою жизнь. Всё естественно, таковы законы природы. Он был в ладу с временем. Сначала он был прельщен и очарован утопией, потом страдал от Режима и разочаровывался в утопии, потом, вместе со всем временем, дождался слома утопии и поражения порожденного ею Режима. Он жил в ладу с временем.

Он уже в истории, но нам, рядом с ним жившим, знавшим его, любившим его, наконец, выпивавшим с ним, будет очень его не хватать. Мы привыкли к нему, мы любили его. С любимыми трудно расставаться. Себя жалею.

Борис ЖУТОВСКИЙ

ДУЭЛЬ

Записки секунданта*

Ноябрь в этом году был, как всегда, сырой, промозглый и темный. Звонок раздался к вечеру.

– Слушай, Борька, – сказал он озорным голосом, – мне нужна твоя помощь.

– Всегда, – отвечал я, заигрывая, – к твоим услугам.

– Нужен секундант, предстоит дуэль.

– Когда, сэр? – Я встал и выпрямил спину.

– Завтра, в полдвенадцатого, жду! – И брякнул трубку.

Он всегда брякает трубку, не выдохнув.

Чуть позже я заскучал.

А если «Мартынов» ответит? А если «Лермонтов» заваляется? Хорош я буду, потакая девятидесятилетнему старику в мальчишеских шалостях!

На всякий случай запихнул в сумку нитроглицерин, валидол, баллончик с газом и электрошоковую дубинку, которую, впрочем, без всякого успеха, испробовал на бродячих собаках.

Он стоял в крохотном своем коридорчике, одетый, в беретке, склонив на бочок голову.

Его дочь Наташка из кухни орала своим самым противным голосом.

– Ну ладно, ты, шестидесятипятилетний сопляк, шпана, что с тебя взять? – верещала она на меня в последней попытке расколоть бретёрскую компанию. – Но ты-то, ты, приличный больной старик! Ты-то куда? – придумала она неожиданно для себя меня виновным и зачинщиком, а отца робким интеллигентом, которому неудобно отказать другу в сомнительной затее.

– Не слушай эти идиотские вопли, – шепнул Лева, – пошли!

* Написано в декабре 1997 г.

И мы пошли.

– Кого будем мочить? – спросил я в лифте.

– Не спрашивай, растрясусь злость. Там поймешь, – и вытаращил озорной голубой глаз.

Сели в машину.

– Куда прикажете, сэр?

– На Поварскую, к Институту мировой литературы, – приказал «Лермонтов», и мы поехали.

Как люди чести мы прибыли за семь минут до срока. Пристроили ландо под задницей бронзового Алексея Максимовича времен Данко и старухи Изергиль и подождали.

За минуту до часа-икс вошли в вестибюль.

Пусто.

Вернее, не пусто, но «Мартынова» нет.

Пыль, ветхость.

Несколько старушек шмыгают за стойкой раздевалки, с тряпкой на щетке у мутного зеркала. В углу – полки с прекрасными книгами, которые можно трогать, брать в руки, листать, класть на место, опять брать...

Лева стоит посреди вестибюля, слегка побледневший.

Когда-то, много лет назад, у Данина на Малой Дмитровке, мы придумывали картинки к «Неизбежности странного мира». Кто-то позвонил.

– Вот сейчас войдет человек, отсидевший семнадцать лет.

И вошел Лева. Он был вот так же бледен. «Как граф Монте-Кристо после замка Иф», – подумал я тогда.

Продавец книг и его собеседник вполголоса за моей спиной обсуждали важную тему: «Ну что вы говорите, Троцкий же был интеллигентный, начитанный человек, а на этих вы только посмотрите, даже слушать не надо. И чем это может кончиться?»

В дверь просунулся огромный человек в пуховой куртке и жириновском картузе. Плоское серое лицо с беловатым глазом тупо уставилось на вставшего на его пути Леву.

– Вы – господин Соколов Борис Вадимович? – спросил мой дуэлянт, склонив голову к плечу.

– Ну, – ответило лицо.

– Я – Лев Эммануилович Разгон. Я хотел бы задать вам следующий вопрос, – едва переждав «ну», продолжил Лева. – Из каких источников вы почерпнули информацию, опубликованную в вашей книге, о том, что Глеб Иванович Бокий завел на своей даче бордель, куда втянул и двух своих юных дочерей?

Я встал за спиной Соколова у его правой руки и расстегнул сумку.

– Взял это в личном деле Бокия в КГБ, на Лубянке, – ответил «Мартынов», не соображая еще до конца, что его ждет.

– Вы – лжец, – сказал Лева, – и негодяй. В личном деле Бокия на Лубянке я сам видел всего четыре листочка: два протокола допросов, приговор о расстреле и справка о приведении приговора в исполнение.

– Ну тогда, наверное, я взял это из книги, – и пробормотал чью-то незнакомую фамилию.

– А почему же вы не закавычили в таком случае этот текст? – И Лева вынул правую руку из кармана курточки.

– А я никогда не кавычу, – ответил доктор филологических наук, забираясь дурным глазом в дальний коридор.

– Я лучше кого бы то ни было знаю цену деятельности и поступкам Глеба Ивановича Бокия, он был моим тестем, – продолжал без паузы Лева. – И я сам был арестован вскоре после его расстрела. А одна из его дочерей, Оксана, обогнанная вами, была моей женой, и в двадцать два года, через час после моего ареста, также была арестована. И после допросов и пыток на Лубянке была отправлена в пеший этап на север. Она умерла от диабета на пересылке, так и не дойдя до лагеря. Ее сестра, также арестованная по статье 58-10, провела в лагерях много лет и вернулась умирать изможденным полуживым человеком. А вы, негодяй и подлец, не даете себе труда даже закавычить чужую ложь. Или, скорее всего, изобретаете свою.

После чего Лева потянулся на цыпочках, чтобы достать,

и ляпнул амбала по морде. А я немедленно воткнул ему в спину палец и тихо предупредил:

– Не шевелись, сука, стой смирно!

Сообразив, что я не лишний, он стал разворачиваться ко мне, но тут Лева догнал его еще одной оплеухой.

– Эти господа меня бьют, – вдруг жалобно проговорил он в вестибюль.

Туальденоровые старушки, усунувшиеся по углам в начале разговора, со страхом и любопытством выглядывали, трясая седыми буколками. Одна из них, в глубине уходящих ступеней, объясняла вышедшему из глубин мировой литературы мужчине послушным эхом – эти двое пожилых людей бьют нашего сотрудника.

Поклонники Троцкого сверкали любопытными очками.

Я убрал палец и взял в жменю пуховую куртку правой руки амбала. Подумав, видно, что его будут бить дальше, он стал выдираться.

– Пошли, Борька, мы все сделали, – сказал Лева.

Я отпустил доктора филологических наук, и мы направились к выходу.

– И учтите, – обернулся к застывшему куску науки Лева, – я на этом не успокоюсь.

Мы вышли и сели в машину.

– Я сделал это, сделал, как я счастлив, что я сделал это! – говорил мой дуэлянт под шум разогревающегося двигателя.

– Пососи валидол, бретёр, – сказал я ему.

– Зачем? Я очень хорошо себя чувствую, – отвечал он, склонив головку к плечу.

– Пососи, – говорю, – пососи.

Он послушно побрызгал из баллончика нитроглицерином.

– Поехали, давай, там Наташка психует.

– Подожди, секундант имеет право выкурить сигарету? – спросил я, отмякая благополучным исходом.

– Это ты прав, – ответил Лева, и я затынулся.

В окно машины со стороны Левы кто-то заскребся, и он открыл дверцу.

Перед ним, слегка склонившись, стояла в грязном снегу одна из вестибюльных старушек в тянутой довоенной кофте, в вытоптанных тапочках и аккуратно разложенных на голове седых завитушках.

– Лев Эммануилович, – теребя очечки, произнесла она, – я никогда вас не видела в лицо, но я хочу выразить вам свое восхищение и почтение.

Лева поймал ее руку и поцеловал.

Старушка замахала в воздухе второй ручкой, присела, повернулась и засемила к дверям Института мировой литературы имени Горького.

Алексей Максимович, высоко задрав голову, по-прежнему смотрел бронзовым взглядом куда-то в сторону своего дома.

И мы поехали.

Наташка, не чаявшая увидеть нас в порядке, на веселый крик отца: «Я сделал это, я сделал это!» – молча выкатила на стол бутылку водки и полбутылки виски, и мы благополучно выхлестали все это на троих.

Да, он сделал это, показав, что честь мертвых и живых, его, моя, наша, имеет цену и что пренебрегать этим не следует никогда.

Каюсь, я тут немножко присочинил. Девяносто ему будет только в апреле.

Анатолий ПРИСТАВКИН

ПЕСЕНКА

О ЛЬВЕ

РАЗГОНЕ

У Разгона в жизни были три главные даты: день рождения – 1 апреля; день памяти его любимой жены Рики – в этот день он молча брал машину и уезжал на кладбище; а еще – день смерти Сталина, 5 марта.

Накануне, поблескивая голубым глазом, он весело общал, что завтра никуда не пойдет, а напьется. И мы понимали: отдав по воле великого тирана семнадцать лет ГУЛАГу, он будет вспоминать своих лагерных дружков и пить за их память. Впрочем, он не был одинок: я помнил, как Лев Копелев, тоже отсидевший в сталинских лагерях, собирал своих друзей, из тех, кто выжил в лагерях, на стол выставлялись фотографии погибших, и за рюмкой шли воспоминания о тех годах.

Но сегодня я о Разгоне. Он правдиво описал свою лагерную жизнь в книге «Непридуманное». И вот что примечательно: ее не тяжело читать. Грустная и светлая проза отягощает совесть, но не отягощает нашего бытия, более того, она обнадеживает и заставляет верить в жизнь.

Вспоминая лагерь, где удавалось ему писать книгу о своем детстве для далекой дочери, как завещание, Разгон скажет: «Вспоминать мое счастливое прошлое, рассказывать о нем дочери было наслаждением настолько сильным, что в нем растворялась горечь утрат. Мне случалось встречать людей с биографией, схожей с моей, которые утверждали, будто за все годы в лагере не было у них ни одной светлой минуты. Может быть. Всеми нами командовал господин Случай, и, вероятно, мне повезло больше, нежели другим. Что явствует хотя бы из того, что я сейчас пишу эти строки».

Несколько лет назад члены нашей Комиссии по помилованию посетили Бутырку, и Разгон обратил мое внимание на ступеньки: как истерты... сколько же здесь прошло?

– И твои следы тут?

– Да, – спокойно отвечал он.

Я не преминул спросить, помнит ли Разгон свою камеру.

– Ну как забыть! – отвечал он.

Но подняться туда не захотел. Только пояснил, что она этажом выше.

Впрочем, мне повезло сфотографироваться с ним в тюремной камере, но это было в Германии. Не скажу, что все камеры в мире одинаковы, как и тюрьмы... Но это была настоящая камера-одиночка в старой тюрьме под Дюссельдорфом, и Лева, попав в нее, долго осматривался, оглядывал, почти обнюхивал стены, потолок, парашу (то бишь сортир), словно должен был провести тут годы. У него даже цвет глаз изменился, взгляд затвердел.

Но двери были распахнуты, из мрачного коридора через железные двери заглядывали друзья, и Булат Окуджава, посмеиваясь, что-то произносил насчет «творческой лаборатории», и Лева, внутренне отринув нечто такое, что было далеко и для нас недоступно, облегченно вздохнул и охотно сфотографировался. Он был легкий человек.

Разгон вообще не умел жаловаться, живописать трудности. Когда его однажды спросили, как же удалось выжить в условиях ГУЛАГа, он с милой улыбкой – кто видел, тот запомнил эту красивую улыбку, – пошутил: «Ну, люди в это время на войне гибли, а мы что, мы в тылу отсиживались...»

В минуты отдохновения, когда после тяжких дебатов оставались мы выпить по рюмке, он любил читать строки из «Пророка», он хранил вообще в памяти множество стихов, но иногда веселил рассказами из жизни писателей 30-х годов.

Лев Разгон рассказывал, как однажды Аркадия Гайдара арестовали, его взяли у посольства Германии, где он почему-то стоял. А когда во время допроса спросили, что он там делал, ответил: «Да вот смотрю и думаю, в какое окошко бросить бомбу!»

– Вы хотели взорвать?

– Я – нет. Но ведь кто на самом деле захочет взрывать, тот не скажет...

И Лева добавил: «Это как с Чапеком... Он приехал в Вену и в книге для посетителей написал: «Русский шпион». Его загребли в полицию, спрашивают: зачем он так написал? А тот ответил: хотел, мол, узнать, много ли дураков в венской полиции...»

Однажды Разгон вспомнил, как они приводили в порядок рукопись неизвестного автора, дописывая и переделывая месяцами... Это была пресловутая книга «Как закалялась сталь». Так вот и закалялась, с помощью коллектива издательства. Но Лева рассказывал об этом без пафоса, с мягкой улыбкой, почти как о казусе, они уже тогда знали этой книге цену. Да и сам Лева, об этом он тоже говорил не без смущения, был пионерским писателем и что-то там кропал... Это потом, в лагере, наступило прозрение.

Разгон рассказал случай, как на суде выступил против однокурсника (молодой я был, дурак!) и обличал его... Не помню – за разврат, а скорей растрату во имя разврата... И вдруг решение: приговорить к высшей мере. Я чуть с ума не сошел... Но там где-то выше отменили приговор... А стыд так и ношу с собой...

Таким его и запомнили друзья по нашей «помиловочной» комиссии: в лагерях не скурвился, не ожесточился, не озлился, наоборот, был самым милосердным из всех нас.

Все мы живые люди, и у каждого свой пунктик: одни не милуют насильников, другие дедовщину, третьи наркоманов... Лева был ко всем одинаково милосерден, и на его мнение (вроде бы всего один голос) зачастую ориентировались остальные.

Мы никогда не называли его Старейшиной, но в трудный момент для комиссии – а таких моментов было немало – мы обращались к нему, мы знали, что он действительно самый старший не по возрасту, возраст как раз не ощущался, а по совестливости, по безупречности, по чистоте.

Это как в оркестре перед концертом, помните: на сцене разноразмерных инструментов, а потом кто-то одну ноту подает – и сразу общий настрой. И музыка. И гармония. И лад.

Он настолько не ощущал своего возраста, что однажды, обсуждая чье-то дело, воскликнул: «Ну чего его держать, старика, ему же скоро семьдесят!»

Но если кто-то жаловался на болезни, он спрашивал подозрительно: «А вам сколько, простите, минуло?» И, услышав, что минуло, скажем, шестьдесят, восклицал как бы в шутку: «Если бы вы знали, какой хороший возраст восемьдесят лет!»

Был случай, я, кажется, об этом уже писал, когда эту внешнюю мягкость подверг сомнению наш Детектив, в прошлом следователь, человек прямолинейный и жесткий, он обвинил Разгона в беспринципности. Лева так же мягко, он не умел злиться, на выпад отвечал, что им двоим не о чем и спорить, поскольку... «мы разные... ты сажал, а я сидел».

Но вновь, когда обсуждалась судьба смертника, Детектив затеял долгую дискуссию, направленную против Левы Разгона.

– Президент должен знать, что в комиссии присутствуют люди, которые голосуют только против смертной казни, – сказал он.

– Он знает об этом, – отвечал Лева.

– Нет, он не знает, а должен знать. Это беспринципно голосовать все время против казни.

– Но так же беспринципно голосовать все время за казнь, – отвечал ему Лева. – Отчего на Руси солдат, убивающий врага, почитается за героя, а палач, убивающий жертву, презирается? – спрашивал он, обращаясь уже ко всем нам. – К нему ведь и прикоснуться нельзя было, а случись такое несчастье – очищаться надо в церкви, отмаливать себя... Вроде бы палач-то (теоретически) убивает плохого человека, преступника, в то время как солдат может убить в бою и хорошего! Там как раз не выбирают. А дело в том, что солдату

противостоит тоже солдат, у него оружие, он может защититься, а жертва палача абсолютно беззащитна...

Не помню, как возникла идея призвать его на комиссию, когда мы зимой 91–92-го года составляли первый список. Наверное, это было естественно, ну кто же будет миловать, если не такие люди, как Разгон. Помню его ответ по телефону: «Сил для такого дела нет, но нет сил и отказаться...»

Ему было за восемьдесят. Думаю, мы рассчитывали скорее на его заочный авторитет, а он оказался самым обязательным среди нас. Даже когда прибаливал, приезжал: ему казалось, что кто-то может без него обидеть несчастных. Случилось, мы однажды засомневались, стоит ли человеку сбавлять срок, если ему осталось сидеть полгода. Лева воскликнул: «Да на один день раньше выйти – благо! Там ведь часы, минуты считаешь!»

В трудные времена, когда пенсия не спасала, Разгон, это мы узнали потом, продавал из библиотеки редкие книги. Но никогда он не жаловался на бедность, он и вправду имел необыкновенный талант: в любых обстоятельствах чувствовать себя счастливым.

Жил скромно вместе с дочкой, и кто бывал в его крошечной квартирке на Малой Грузинской в блочном доме, поражались тесноте: все свободное пространство было отдано книгам. Но хозяин с милой своей улыбкой отмахнется: «Да ведь теплый клозет есть, чего же еще надо!»

Я хочу, чтобы вы услышали эту истинную радость обладания теплым клозетом после семнадцати лет тундры.

Но если эту тему продолжить, вы услышали бы от хозяйина необидный рассказ про западного корреспондента, который, допытываясь, как удавалось Разгону писать в заключении, воскликнул: «А я знаю, вы, наверное, писали на туалетной бумаге, да?»

Однажды к нему приехали почитатели его таланта из одной казачьей станицы, с корзинами, полными фруктов, и заявили, что они всегда считали его своим, родным челове-

ком, потому что в станице у них живут сплошь Разгоны. Лева мило отвечал, что он благодарен за такое отношение, но он-то по происхождению... как бы лучше сказать, ну, еврей...

Это нисколько не смутило гостей. Самый старший из них, казак с офицерской выправкой, бойко отвечал, что они, конечно, знают о том, что Разгон еврей, а они – казаки... «Но еще неизвестно, – сказал лихой казак, приглаживая усы, – кто от кого произошел!»

Но я, наверное, не совсем прав, сказав, что Лева не умел сердиться. Запомнились его страстные отповеди по поводу вылазок молодых фашистов в газетах, по поводу того же Лимонова. Помню, так совпало, что мы оказались в Париже: у Разгона и у меня были переведены книги на французский язык, – и книжный магазин «Глобус» устроил встречу с читателями. Во время выступления из задних рядов раздались неприличные выкрики, а кто-то рядом сказал: «Ну, это Лимонов, ему не терпится попасть в печать!» Я даже немного растерялся: Париж – и вдруг открытое русское хамство. И тут Разгон спокойно и жестко произнес всего несколько слов о том, что он в лагерях видел и не такую мразь и там их тоже били.

На похоронах Булата Окуджавы мы стояли слевой в почетном карауле, обнявшись (я боялся, что он не устоит), и впервые я увидел, как он плачет. Горько и по-детски. Звучала песня: «Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет...» Мне показалось, что именно в тот день что-то в Леве надорвалось... Хотя и земля вертелась, и ярок был свет...

В дневнике я нашел такую запись:

«...31 марта 1998 г. Вместо заседания – цветы в честь Разгона, ему 90 лет, подарки и поздравления. Много хороших слов. Стихи, импровизации, тосты. Сам он произнес замечательную речь, смысл ее, что комиссия не часть его жизни, а вся жизнь... И он было усомнился, может ли в ней по возрасту работать... чтобы, как он выразился, не компрометировать ее своим возрастом... Но именно она дала

возможность ощущать себя полноценным гражданином...»

На чествовании в Союзе писателей он был слаб, а на следующий день его увезли в больницу...

Казалось, что он выкарабкается... Еще за день до смерти он читал уголовные дела, торопясь кому-то помочь. Но еще раньше он высказался так: «Работа в комиссии спасла меня в тяжелые годы, она помогла ощущать себя гражданином».

И когда мы в одно из заседаний, а точнее, позже, за рюмкой, отмечая День Победы (это еще был и день рождения Булата, которого уже с нами не было), набрали номер телефона больницы и по очереди по мобильному каждый сказал по нескольку слов, Лева на той стороне провода только произносил со слезами: «Хочу к вам! К вам!»

Кстати, Булат Окуджава, который охотно посвящал и дарил своим друзьям стихи, посвятил несколько строк и Леве. Родились они из реплики: «Лева, как ты молодо выглядишь!» – «А меня долго держали в холодильнике...»

Эти стихи Булат написал во время нашей совместной поездки по Германии и прочел за дружеским столом в Эрфурте. Вот они.

ПЕСЕНКА ЛЬВА РАЗГОНА

*Я долго лежал в холодильнике,
обмыт ледяною водой.
Давно в небесах собутыльники,
а я до сих пор молодой...
Преследовал Север угрозою
надежду на свет перемен,
а я пригвоздил его прозою –
пусть маленький, но феномен.
По воле судьбы или случая
я тоже растаю во мгле,
но эта надежда на лучшее
пусть светит другим на земле.*

Александр ГОРОДНИЦКИЙ
**ЕДИНСТВЕННЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ
УХОДЯЩЕГО
СТОЛЕТИЯ**

Лев Эммануилович Разгон, замечательный писатель и солнечный человек, ушел из жизни сухой и ясной последней осенью двадцатого века на девяносто втором году жизни. Жизнь эта была долгой, нелегкой, от начала до самого конца, когда он упорно боролся с осадившими его недугами. Корней Иванович Чуковский как-то сказал: «В России надо жить долго». Лев Разгон на наше счастье жил долго, хотя другой на его месте возможно бы сломался. Ушли из жизни Варлам Шаламов и другие выжившие узники, смертельно раненные зонами, а Разгон жил и радовался тому, что, как он сам говорил: «пересидел Сталина».

Лагеря не сломали его не только физически, но и духовно. Он не ожесточился, не озлобился. Его книга «Непридуманное», другие повести и рассказы, несмотря на трагизм описываемых ситуаций, где герой и автор практически одно и то же лицо и литература тесно сплетена с документом, полны света и неистребимой надежды на победу добра. Даже в лагере, под гнетом и надзором, Лев Разгон оставался свободным человеком. Кто мог позволить себе тогда смеяться над усатым тираном? А он мог.

Я помню, что впервые услышал его рассказы от него в Переделкине, где мы снимали дачу вместе с Натаном Эйдельманом. Меня тогда поразил его не по возрасту юный, задорный облик, особенно светлые, по-мальчишески озорные глаза и манера себя держать совершенно свободно. С первого момента подкупало его очевидное бесстрашие, поскольку то, что рассказывал он, даже тогда еще небезопасно было предавать гласности.

Потом мы подружились, и он буквально заставил меня перейти с ним на «ты», несмотря на мое упорное сопро-

тивление – все-таки четверть века разницы, да и величины несоразмерные. Однако по прошествии некоторого времени я начисто перестал замечать разницу в возрасте. Он оказался моложе и крепче духом не только меня, но и многих нынешних двадцатилетних.

Лев Разгон по-детски умел радоваться жизни. И жертвой ГУЛАГа себя не считал. Вот что писал он об этом:

«Свободным человеком я стал в лагере. Там нечего было терять. В лагере освобождаешься от догм и стереотипов. Кроме того у меня были счастливые возможности свободного общения с людьми огромного интеллекта. Потерял я за эти годы многое, но и приобрел немало».

Одним из главных приобретений лагерной жизни, безусловно, было знакомство с Ревеккой Ефремовной Берг, второй женой Разгона, с которой прожил он 47 лет. Ее суммарный лагерный срок оказался даже больше, чем у него, поскольку она была дочерью известного революционера, члена ЦК партии эсеров Ефрема Берга. В последние годы Разгон собирал материалы для книги о дочери и отце Бергах, которую так и хотел назвать: «Отец и дочь».

Писательская судьба Разгона складывалась не просто. Он был автором нескольких книг, когда в весьма солидном возрасте, почти в 80 лет, на него буквально обрушилась настоящая известность. Его книга «Непридуманное» была издана и многократно переиздана, переведена на многие языки и получила всеобщее признание.

Жизнь свою без работы он не представлял. Вот что он сам писал об этом всего за полгода до смерти:

«Для меня главным в жизни была и есть возможность трудиться. Седьмой год состою членом Комиссии по помилованию при Президенте России. Три полных дня в неделю читаю толстые папки с заявлениями о помиловании. Это счастье, что президент объявил мораторий на исполнение приговоров, и с мая никого не казнят. Состою я и в совете «Мемориала», в общественном совете Российского еврейского конгресса. Увы, я уже не могу передвигаться ни пеш-

ком, ни на городском транспорте, поэтому на заседания и собрания меня возят. Глупо умолчать о том, что за эти годы у меня был не один инфаркт, повалялся по больницам. Не понимаю, как ухитрился выжить, но все это не мешало ощущению счастья и удачи. Моя главная книга лагерно-тюремных воспоминаний продолжает выходить в разных странах. В прошлом году в американском издательстве «Ардис», а в этом – в Лондоне. В Италии вышел перевод книги «Позавчера и сегодня». Продолжаю публиковаться и часто выступаю по телевидению. Отказывать не имею права, ведь я – чуть ли не единственный свидетель уходящего столетия. В США умер почти мой ровесник Толя Рыбаков. Я работаю, активно живу и обязан чувствовать себя счастливым».

Удивительными качествами Льва Разгона были изначальная доброжелательность к незнакомым людям и обостренное чувство справедливости вместе с практическим отсутствием чувства страха. И кажется совершенно естественным, что именно он, бывший зек, активно работал в комиссии по помилованию, пытаясь творить добро в наш недобрый век. И хотя он был как бы из другого поколения, мы – шестидесятники – считали его своим.

Он любил женщин, и они любили его. Жена его племянника, живущая в США, рассказывает, что, по уверениям родственников, когда он нес ее будущего мужа из родильного дома, то так заговорился с какой-то встреченной по пути красоткой, что чуть не потерял младенца.

Разгон любил петь и пел, кстати, превосходно. Предметом особой гордости для меня было то, что пару моих песен, знакомых еще с лагерной поры, он любил и пел.

Выступая на сцене в Политехническом музее на моем шестидесятипятилети, он сказал: «Когда после семнадцати лет отсутствия я вернулся в Москву и очутился в обществе друзей моей восемнадцатилетней дочери, я был поражен – они все непрерывно что-нибудь пели. Большая часть этих песен, как выяснилось, принадлежала некоему

Алику Городницкому, хотя я-то их слышал раньше и считал народными. И я сам невольно поддался магии этих песен, хотя и не сразу понял, в чем она заключается. В чем же причина успеха этих песен среди тогдашней молодежи? Во-первых, эти песни были вовсе не советскими – они не звали на целину и в космос, не призывали бороться и побеждать, да и написаны были о нормальных человеческих чувствах нормальными человеческими словами, а во-вторых – это была поэзия».

Пару лет назад для авторского телевидения был снят фильм о моих песнях, где оказалась довольно своеобразная сцена. В соответствии с идеей режиссера, в мастерской у художника Бориса Жутовского сидят за столом мои друзья и разговаривают обо мне. На столе стоит водка и закуска, а сам я отсутствую. По режиссерскому плану в состав компании должны войти: художник (Борис Жутовский), политик (им стал мой давний приятель, один из лидеров партии «Яблоко» Владимир Лукин), поэт (в этой роли выступил Игорь Губерман) и писатель, которым к моей радости согласился быть Лев Разгон.

По мере истребления водки и закуски разговор приобретает все более непринужденный характер. Игорь Губерман уже со второй рюмки начал активно вовлекать в разговор неформальную лексику, и весь материал для фильма безнадежно пропал, а я, отсмотрев эти кадры, узнал о себе массу нового и интересного. Дело, однако, не в этом, а в том, что, когда зашла речь о песне «Снег», написанной в пятьдесят восьмом году, Разгон стал страстно доказывать, что он ее слышал на зоне еще в пятьдесят пятом, чем немало подогрел мое авторское тщеславие.

Жизнерадостный по натуре, он и в последние годы позволял себе дружеские посиделки с выпивкой. Помню, на банкете по поводу моего шестидесятилетия он выпил довольно много всего за пару дней до своего девяностолетия, чем чуть не сорвал свой собственный юбилей.

В своем отношении к людям, к друзьям и врагам, к жен-

щинам, к правде и неправде, по своему удивительному бескорыстию и фатальной вере в победу добра, он был настоящим рыцарем и настоящим мужчиной – категории нетипичные в нашу торгашескую эпоху.

Он любил друзей, и друзья любили его. В последние годы, когда стало сдавать сердце, они сделали все, чтобы prolongировать эту замечательную жизнь. Трудно перечислить всех, но хотелось бы выделить кроме его дочери Наташи еще Евгению Альбац, помогавшую ему в самые трудные часы.

При жизни Лев Разгон не был религиозным человеком, но в день похорон на Востряковском кладбище читали над ним кадиш – еврейскую поминальную молитву. Во время панихиды в Центральном доме литераторов, куда собралась, кажется, вся Москва, и на кладбище, согласно его последнему желанию, звучали мотивы еврейских народных песен. Солнечная и ясная осенняя погода, звуки скрипки, просветленные лица провожающих – все это придавало грустному обряду прощания какую-то странную праздничность.

Он совсем немного не дотянул до рубежа тысячелетий, до выборов, которые ожидал с надеждой. Он навсегда остался в уходящем двадцатом столетии рядом с другими такими же светлыми рыцарями правды – Андреем Дмитриевичем Сахаровым и Булатом Окуджавой. Остался теперь уже на все времена – свободный человек в несвободной стране, оптимист в век разочарования и уныния.

Лидия ЛИБЕДИНСКАЯ

**РЫЦАРЬ-
ПРАВЕДНИК**

Скажу сразу – эти строки будут признанием в любви. В любви к человеку, которого каждый, кто хоть немного знал, не мог не полюбить. А мне выпало счастье знать его долгие годы и, смею надеяться, пользоваться его дружеским расположением.

Лев Разгон. Наш дорогой Левочка. Совсем недавно мы поздравляли его с девяностолетием, и вот его нет больше среди нас. Что делать, «не говори с тоской – их нет, а с благодарностью – были...»

Его судьбу мало назвать тяжелой и несправедливой, она трагична.

Думая о судьбе Льва Разгона, не перестаешь удивляться, какой надо было обладать силой воли, мужеством и любовью к жизни даже во всех ее самых мрачных проявлениях, чтобы сохранить в душе столько света, тепла, доброты, что до последнего дня его жизни люди, куда моложе его, прожившие благополучную жизнь, шли к Разгону, чтобы в трудную минуту почерпнуть у него силу духа, оптимизм и уверенность в торжестве справедливости.

Мы познакомились с ним в начале семидесятых в городе Чите, где проходили дни литературной читинской осени. Много хороших писателей съехалось туда на праздник: Юрий Давыдов, Марк Сергеев, Владимир Порудоминский, Виль Озолин, Сергей Давыдов, артист Яков Смоленский – всех уже и не вспомнишь. Мы ездили по читинской области, посещали знаменитые места, связанные с пребыванием здесь в ссылке декабристов, – Петровский завод, Акатуй.

Помню, как в Акатуе мы долго стояли у могилы Михаила Лунина возле бывшего острога, в котором он и умер, то ли покончив с собой, то ли от угара, то ли был убит за то, что и из этого каторжного угла России продолжать слать вольнолюбивые письма. У подножья большого же-

лезного креста, поставленного еще в прошлом веке его сестрой, увидели мы небольшую металлическую пластинку, на которой тонкой проволокой была наварена надпись: «Ветерану войны с Наполеоном от ветерана войны с Гитлером». Подписи не было, но у нас от волнения перехватило дыхание и слезы выступили на глазах. Кто он, этот воин, прошедший ад отечественной войны и добравшийся в эту глушь, чтобы принести благодарность и любовь такому же воину, за сто с лишним лет до него защищавшему отечество? Мы этого никогда не узнаем и никогда не забудем...

– Великая Россия... – еле слышно проговорил Разгон.

Мы выступали в самых разных аудиториях – в Домах культуры, в сельских клубах, в воинских частях, в школах. Выступали по несколько раз в день и немудрено, что к вечеру изрядно уставали, да и расстояния в Сибири нештучные. Протрясись целый день в расхлябанном «газике» по бездорожью и станет понятен предвоенный лозунг: «Чужой земли мы не хотим! Со своей бы управиться!»

Но самый старший из нас – Лев Разгон – никогда не жаловался на усталость, и когда вечером мы собирались у кого-нибудь в номере, чтобы «расслабиться», он был главным заводилой в застолье, с удовольствием выпивал наравне со всеми, произносил тосты, читал стихи...

Да, справедливость в судьбе Разгона восторжествовала.

Но на это понадобилось полвека – 50 лет! Никогда не забуду, как, выступая на митинге, когда в сквере на Лубянке открывали камень – памятник жертвам сталинских репрессий, он сказал, указывая на здание КГБ:

– Мой путь от этого дома до этого камня длился тридцать лет!

Он сказал это, не сетуя, не жалуясь, он произнес эти слова с высоким чувством собственного достоинства.

И он имел на это право.

В конце восьмидесятых к нему пришла литературная слава.

В журналах стали появляться «лагерные» рассказы Льва Разгона, сразу привлечшие внимание читателей. Написаны они были гораздо раньше – естественное желание поведать людям о пережитом заставило его взяться за перо. Однако надежды на то, что они смогут увидеть свет тогда не было. Но мы, его друзья, уже знали о них. В тесной ли квартирке Разгонов или у нас на террасе в Переделкине мы с волнением слушали только что написанные рассказы.

Впрочем, волновались не только слушатели, но и сам автор, голос его порой срывался, влажнели глаза. А что уж говорить о нас! Это было потрясение...

А потом вышла книга, названная очень просто, одним словом – «Непридуманное». Лучшего названия быть не могло. Каждая строчка в этой книге дышала правдой. О ней много писали, и я не буду повторяться. Об одном не могу не сказать – о той, кому посвящена эта книга:

*«Рике Берг,
моей жене и спутнице
по непридуманным скитаниям» –*

читаем мы на первой странице.

С этой удивительной женщиной Льва Разгона свела судьба на одной из тюремных пересылок. Дочь известного революционера, она расплачивалась за судьбу своего репрессированного отца, который, по ее словам, не сидел в тюрьме только краткий период с февраля по октябрь 1917 года. 1922 год он тоже встречал в Бутырке. Но тогда времена были помягче, и родным разрешили принять участие в новогоднем вечере. Пришла к отцу и Рика.

– И вдруг, – рассказывала она, – около полуночи в комнату, где собрали заключенных и их родных, вошел Шалапин. Да, да, сам Федор Иванович Шалапин и обратился к нам с такими словами: «В этом году я навсегда покидаю Россию и последнюю новогоднюю ночь хочу провести с теми, кто страдает. Я буду вам петь...»

К моменту встречи с Рикой Лев Разгон уже давно знал о трагической гибели своей первой жены, и горе его было безутешным.

Встреча с Рикой была милостью судьбы.

Их связало большое чувство, пронесенное через все разлуки, все невзгоды и превратности лагерной судьбы. И после возвращения из ссылки, до последнего своего часа эта удивительная женщина, красавица, несмотря на почтенный возраст, несла людям свет и радость.

Конечно же, годы и утраты брали свое, и Разгона нередко настигали болезни, но он о них не говорил, и никто никогда не слышал от него ни слова жалобы. Зато всегда по первому зову он готов был откликнуться на просьбы друзей: выступить на вечере, провести презентацию новой книги.

Всегда подтянутый, собранный, красивый, он был рыцарь по натуре своей. Недавно, когда один негодяй позволил себе в печати оскорбить память его первой жены, Лев Разгон удостоил его заслуженной пощечины. Это в 90 лет!

Мне вспоминается, как несколько лет назад пришли ко мне на дачу в Переделкино Лева и Рика, которые жили в то лето в Доме творчества. И в разговоре, так, между прочим, Лев Эммануилович сказал, что через два дня исполнится тридцать лет, как он вышел на свободу.

– Так надо же это отметить! – сказала я. – Приходите ко мне, все будет готово к такому торжеству.

Настал долгожданный вечер, стол накрыт, а Разгонов все нет и нет. Звоню в Дом творчества.

– Где же вы?

– А что случилось? – с недоумением спрашивает Лева и, поняв в чем дело, смущенно добавляет: – А я совсем забыл... Идем, идем!

Судьба не поскупилась на отпущенные ему годы, но жизнь не баловала его. А он любил ее всем своим добрым горячим сердцем и умел быть благодарным за любую, пусть маленькую радость. Он любил людей. Когда за год до смерти он попал в больницу и оказался в реанимации, едва ему стало чуть легче, он потребовал, чтобы его перевели в общую палату, — хотел быть с людьми, не мыслил без них своего существования.

От него исходили легкость и радость. Наверное, не случайно, что в тот день, когда мы навсегда прощались с Разгоном, евреи всего мира с первой звездой встречали новый 5760 год. В такие праздники из жизни уходят праведники.

Кирилл КОВАЛЬДЖИ
ВЕК ЛЬВА
РАЗГОНА

Он родился, когда еще был жив Лев Толстой, и покинул нас на пороге третьего тысячелетия...

Мне посчастливилось быть его другом и соседом по дому ни много, ни мало – тридцать три года! Мне посчастливилось быть причастным к первым публикациям из его будущей книги «Непридуманное» (я в ту пору работал в журнале «Юность»), принимать участие с ним вместе в общественной деятельности (он был страстным поборником свободы и человечности, противником тоталитарного режима и шовинизма), довелось несколько лет заседать с ним в Комиссии по вопросам помилования при Президенте РФ.

Разгон был единственным среди членов комиссии, который на своей шкуре испытал все прелести пребывания за колючей проволокой. Он мгновенно схватывал суть любого «дела», угадывал характер заключенного и обстоятельства, толкнувшие его на преступление... Он никогда не голосовал за смертную казнь.

Он выстрадал свой опыт и свои убеждения, пережил много утрат и потерь, ничего не приобрел, кроме книг и телевизора. Жил скромно, тесновато. Зато сколько друзей, и каких! Зато любовь и уважение. И враги, конечно, были (им от него доставалось свысока – он никогда не опускался до их уровня).

Скажите, как согласиться с тем, что каждая отдельная жизнь кончается смертью? Мне, литератору, это кажется неестественным: творчество приучает к тому, что удастся сохранить прекрасное и достойное, продлить до бесконечности. Как правило, стихи и романы приостанавливаются в нужном для искусства месте («остановись, мгновение!...»), создают иллюзию нетленности. Невольно я эту литературную привычку вносил в жизнь, начинал

верить в невозможное. Лев Разгон сделал все, чтоб подтвердить, что он – исключение из правила.

Помню первое впечатление от знакомства с ним.

Мы жили в одном доме, но не сразу подружились. Я хаживал к Оттенам, дружил с Николаем Давыдовичем и Еленой Михайловной. Однажды к ним забежал жизнерадостный пожилой человек, быстрый в движениях, со смущенной улыбкой. Нас познакомили. Это был Лев Разгон. Когда он ушел, Николай Давыдович грустно сказал, как бы прося не очень-то верить той показной бодрости:

– Очень больной человек. Три или четыре инфаркта...

Боже мой, Лев Разгон пережил Оттенов лет на двадцать или больше! Лев Разгон опровергал законы возраста. Наша дружба оказалась долгой, но все-таки радость всегда сопровождалась чувством тревоги. Я видел его облаканного восторженной любовью на встречах с читателями, я видел его на митингах и на трибуне под гром аплодисментов, я видел его на больничной койке под капельницей. Годы шли. Всякий раз, когда его телефон не отвечал, я пугался. Потом опять стыдился своего маловерия. Он трижды умирал и воскресал.

Он был закоренелый позитивист (он в свое время написал ряд популяризаторских книг о науке), ни в какую потусторонность не верил, потому так ценил каждый земной день, так любил жить.

Слава пришла к нему поздно, на восьмом десятке. Его книгу «Непридуманное» я читал в рукописи давно, верил, что она будет опубликована. В конце 1987 года почувствовал, что – пора. Выпросил у Льва Эммануиловича рукопись для журнала «Юность» (надо сказать, он поупорствовал, еще сомневался, но, слава Богу, дело сделалось). Не помню, каким образом «Огонек» нас опередил, рассказ «Жена президента» там выскочил раньше (кажется, одна из работниц «Юности» тихо передала этот рассказ Коротичу). Но все-таки главная публикация – в четы-

рех номерах, начиная с пятого за 1988 год, – состоялась у нас и наделала много шума. Лев Разгон сразу стал в первый ряд литературных открытий эпохи «перестройки».

Храню журналы с его надписями: «Дорогому Кириллу Ковальджи – главному виновнику появления этого безобразия на страницах советской прессы. Не отвертись!..», и «...другу и соучастнику этого преступления», и «...вождю и организатору наших побед. С любовью. Лев Разгон».

Общение с ним всегда было радостью. Вопреки разнице в двадцать два года вкусы и убеждения у нас совпадали. Я ценил дружбу с молодежью, умел находить с ней общий язык, и вот – от самого моего молодого друга до Разгона был диапазон взаимопонимания больше пятидесяти лет! Могу вас заверить: нет возрастных барьеров. Ум и талант вне времени. Вот только с грешной плотью дело сложнее. Она сдает раньше, чем хотелось бы. Да, и в случае Льва Разгона – раньше.

Он прожил почти век, но мог бы еще жить и жить. Интенсивно, интересно, получая удовольствие от каждого дня и одаривая собой современников.

Не в первый раз он отправлялся в больницу. Держался с неизменной мужественностью, позволял себе шутить, был весь нацелен на то, чтобы вырваться из очередной палаты, как вырвался из зоны.

Но в тот раз, в конце мая 1999 года, он что-то почувствовал. Ему было ночью плохо, его должны были отвезти в больницу, мы до приезда «скорой» поговорили, поцеловались. И вдруг, уходя, в коридоре, где я еще разговаривал с его дочерью Наташей, я услышал громкие рыдания. Он откровенно и горько плакал, как ребенок. Я хотел было броситься к нему, но стало неловко и, потрясенный, я отправился восвояси.

И опять он боролся за жизнь, опять трижды умирал и воскресал и все-таки вернулся домой. Но узнать его было трудно. Он резко и необратимо постарел.

И все равно мы еще надеялись...

...Мне выпала горькая участь вести гражданскую панихиду в ЦДЛ. В гробу его почти не было видно – он утонул в цветах. Мне больно до сих пор и долго еще будет больно. Никто мне его не заменит. Когда-нибудь я напишу о нем больше и лучше, а пока повторю то, что сказал тогда, в день похорон:

– Среди нас жил чудесный человек – Лев Разгон. Феноменальный человек. Он был просто чудо. Он сумел прожить девяносто лет и не стать стариком. Ни его душа, ни его ум, ни его талант не знали старости. Мы привыкли к этому чуду, рассказывали легенды о нем, ставили в пример всем нытикам и малодушным. Гнали от себя мысль, что чудо не вечно. Горько, бесконечно горько, что и такое чудо кончается смертью.

Но чудо все-таки было! Но Лев Разгон согревал нашу жизнь, он любил жизнь, он был щедр, смел и красив.

Я не был свидетелем его трагических лет, я его узнал человеком счастливым, обретающим известность, любовь и восхищение читателей в нашей стране и в мире. Он увидел мир. В том возрасте, который мы называем старостью, он пережил расцвет. Он радовался Парижу и Риму, Лондону и Иерусалиму. Он верил в новую судьбу России, не только верил, но и всеми силами способствовал свободе, разумности и доброте.

Утром седьмого сентября я зашел к нему, он передал мне прочитанные дела для Комиссии по помилованию (вот уж буквально – работал до последнего дня!), жаловался на слабость, просил посидеть с ним минутку, но я торопился на службу, пообещал забежать вечером.

А вечером... Больше живым я его не увидел.

Пришлось нам проводить его в последний путь, но мы вольны не отпускать Льва Разгона от себя, от своей памяти, от своей любви. Нашей любви.

ГЛАВА 5

ПОЗАВЧЕРА И СЕГОДНЯ



Нет, не горят рукописи, не горят, прав был мессир Воланд.

Передо мной неопровержимые доказательства непреложности этого утверждения – толстая конторская тетрадь в потрепанном переплете и книга с еще не высохшей, чуть липнувшей к рукам краской, на обложке которой белым по черному резко очерченный профиль, как лик нерукотворный, – мудреца и мученика, праведника и победителя.

И тетрадь, и книга – повесть о жизни Льва Разгона. Его «Позавчера и сегодня». Рукописное начало, временные и географические координаты которого: Усольлаг, л/о Кушмангорт, зима 1951/52 года. И сигнальный экземпляр книги, увидевший свет в октябре 1995 года в Москве. Отрезок длиной почти в полвека разделяет две эти даты, а между ними были еще тридцать три года, когда тетрадь, переправленная из лагеря в Москву дочери, неожиданно пропала, казалось, навсегда, но, чудом уцелевшая, все же вернулась к автору. Вернулась, чтобы стать книгой.

«Позавчера и сегодня» – так называется последняя увидевшая свет книга Льва Разгона.

Позавчера и сегодня – это масштаб времени, ось координат, на которой отмерены годы, прожитые автором.

Позавчера и сегодня – а между ними верстовые столбы столетия: 1917–1937–1941–1953–1960–1985–1991–1993... Без слов понятная цифрограмма – знаменательные вехи на крестном пути, выпавшем на долю человека нашей эпохи, гражданина недавно рухнувшей под собственными обломками Страны Советов.

А если все это вместились в одну человеческую жизнь? Дореволюционное детство на могилевщине в «черте оседлости». Революция, радостное созидание новой жизни и вера в светлое будущее, во всеобщее равенство. Долгие годы, проведенные в лагерях, тюрьмах, ссылках, крушение всех иллюзий. Смерть Сталина. Свобода. Реабилитация. Оттепель. Перестройка. Крушение империи.

И – созидание новой жизни.

И – упрямая вера в светлое будущее.

«Позавчера и сегодня» – книга, пронизанная любовью к людям, большинства из которых давно уже нет. Но есть одушевленный любовью мир нашей памяти. В этом мире ничто не исчезает, куда жива память.

Память – причудливая и своевольная спутница человека. Ей не прикажешь, ее не прогонишь. Она соперничает с небытием, бросает ему вызов, воскрешая навсегда ушедшие мгновения жизни. Она возвращает их человеку, заставляя заново пережить пережитое или то, чего не было, что происходило не с ним, но в нем отзывается болью и горечью и счастьем узнавания, приобщения к прошлому, которого нет, а через него – к будущему, которого может не быть.

И ты вдруг шепчешь слова молитвы, которую никогда не слышал, узнаешь улочки и закоулки городка, в котором никогда не был, и вспоминаешь незнакомые тебе праздники Пурим, Хануку, Песах, названия которых пробуждают неясные какие-то переживания, в них перемешаны быль и небыль, и все это твое. И ты плачешь над братской могилой на разоренном, почти исчезнувшем, старом еврейском кладбище, ты плачешь над могилой, в которой похоронены убитые немецкими фашистами в 1941 году не твои родственники... И плачешь ты не только потому, что это твои родственники по крови, твои соплеменники, но еще и потому, что «с плача по умершему начинается человек».

Лев Эммануилович говорил: «Плакать, сочувствовать, сопереживать, жалеть и любить человек должен научиться в детстве. Это основа нравственности, надежности, верности, мужества в конце концов. Человек, который не умеет сочувствовать другим, жалеет и любит только себя, – слабый человек. Такому жизнь не по плечу».

«Позавчера и сегодня» – это и плач по всем, кто ушел, кого любил и потерял. Но и мудрое осознание того, что они не ушли бесследно.

«Позавчера и сегодня» – письмо из исчезнувшей навсегда страны детства. Давно уже нет ни на какой карте «черты оседлости», нет и переживших ее еврейских местечек – ушел целый мир еврейских будней и Суббот, с обязательным соблюдением заповедей Моисея, с религиозным воспитанием детей, ушел неповторимый мир еврейских праздников, шумных базаров, торжественных и строгих синагогальных площадей, мир цадиков и меламедов, балагул и маршеликов*, покосившихся могильных плит с шестиконечными звездами.

«Позавчера и сегодня» – прощальный взгляд, ожививший исчезнувший мир. И слышится то бесконечно печальная, то отчаянно веселая музыка, и доносятся запахи ванили, корицы и гусиных шкварок, и звучит непонятная речь, и мелькают знакомые лица тех, кого никогда не видел...

И хочется уберечь их от того, что должно случиться.

И все время хочется оглянуться, чтобы убедиться – они есть.

* Цадик – праведник.

Меламед – учитель.

Балагула – извозчик.

Маршелик – распорядитель на свадьбе.

Беседа
«С СИГНАЛЬНЫМ
ЭКЗЕМПЛЯРОМ
В РУКАХ», 1995 г.

Ноябрь 1995 года. Лев Эммануилович только что выписался из больницы, и я сразу же приехала к нему с сигнальным экземпляром «Позавчера и сегодня». Я знаю, как он ждал этого, как мы ждали. Каждый из нас норовит дотронуться до книги, подержать в руках, дабы убедиться – это не мираж, не сон. Это сбывшаяся мечта.

И мы тихо беседуем, доверяя друг другу первые, быть может, еще не облеченные в парадные и точные слова, но, несомненно, самые искренние впечатления об этом не просто объединившем – сблизившем нас событии.

* * *

Новая книга – всегда событие. Если это твоя книга – событие особого свойства. И полное смятение чувств: смущение, что твое, сокровенное, сделалось вдруг всеобщим достоянием, и изумление – что вот все же книга, почти как настоящая (почему-то всегда мешает это «почти»), и страх, что она последняя (даже если первая), и желание подарить, показать, и тревожное ожидание отзывов. И радость, конечно же, радость. Все это, если вообще – книга. Но «Позавчера и сегодня» – книга особая. И если уж для меня, ее редактора, это событие значительное, то что скажете вы, главный виновник этой истории?

Издание этой книги – не просто знаменательное событие в моей литературной жизни, это большое счастье для

меня. Задуманная как письмо дочери с рассказа о наших корнях, о моем детстве, о родителях и родственниках, о моем еврействе, о том, что мне удалось сохранить и пронести через всю жизнь, – книга эта, по сути дела, стала для меня итоговой. Итоговой в том смысле, что она подводит черту под всеми пережитыми мною за долгие годы радостями и горестями, сомнениями и уверенностью, отчаянием и надеждой. И как всякая итоговая книга она получилась грустной, хотя первоначальный замысел был иной – светлые, радостные воспоминания о детстве, о счастливом детстве, несмотря ни на какие катаклизмы, лишения и трудности. Всякая итоговая книга, в сущности, грустная книга, книга-прощание. Потому что сколько бы ты ни прожил лет, что бы ты ни успел сделать, все равно кажется, что сделано недостаточно, что след ты оставил мало заметный. Это непреложно.

И дело, конечно, не в том, что позавчера было безоблачно радостным, а сегодня – только печально. Нет. И позавчера не все было так уж хорошо, и сегодня не все плохо. Просто, когда подводишь итоги, вдруг ловишь себя на мысли о том, что, в общем-то, не вышло так, как мечталось в детстве. Не получилось. И это закономерно. Но от понимания этой закономерности не становится легче. Все равно это грустно, потому что ничего уже нельзя поправить и вернуть ничего нельзя.

В конце книги две даты: 1951/52 гг. и 1993 год. И два адреса: Усольлаг – Москва. И два пласта воспоминаний. Воспоминания сорокалетнего зека, измученного предшествующими и предстоящими годами лагерной жизни, – идиллические воспоминания о детстве, отрочестве, о природе, книгах, путешествиях и прекрасных мечтах, устремленных в будущее. И воспоминания человека, дожившего до этого будущего и вынужденного с горечью констатировать: «Мне грустно, что я живу в глубоко безнравственном обществе». Это сегодня. А изменили бы вы

что-нибудь в своем позавчера, если бы писали свою книгу сейчас?

Я полагаю, что эти воспоминания, написанные не сорок лет назад, а сегодня, были бы еще более радостными и светлыми. Потому что мое далекое детство на фоне мрачных теней, опутавших наш сегодняшний день, порой кажется мне красивой сказкой. И вот что удивительно: мое детство проходило в «черте оседлости», то есть в гетто, куда были загнаны евреи в царской России, а сегодня я живу в свободном обществе, в котором ничего подобного нет. Но я не могу сказать, что чувствую себя сейчас более счастливым, чем тогда, когда жил в маленьком еврейском городке. Я старый человек, москвич с более чем полувековым стажем, я редко выезжаю из своего города и, может быть, недостаточно хорошо знаю теперешнюю жизнь нашего общества, но меня не покидает ощущение, что в детстве я жил в атмосфере более нравственной, более человеческой и более мужественной.

Вообще же всерьез говорить о том, какой была бы эта книга, если бы я писал ее сегодня, нельзя по одной простой причине — сегодня я бы ее не написал. Не смог бы. Физически не смог бы, я за эти сорок лет одряхлел, ослабла память — это естественный процесс старения организма. Я поражаюсь, с какой точностью, с какой яркостью мне удалось тогда вспомнить многие эпизоды моей жизни, имена друзей и родных, какие-то мелкие детали и подробности, из которых и состоит жизнь. Отчасти мне это удалось потому, что я был моложе на сорок с лишним лет, но главным образом, я думаю, потому что для меня эти ночи в каптерке планового отдела нашего лагпункта, когда я воскрешал свое прошлое, как бы заново проживая его, были счастьем. И этим счастьем мне хотелось поделиться с моей дочерью.

«Позавчера и сегодня» – книга добрая, пронизанная любовью не только к людям, но ко всему, что было. И все же это щемящая книга, книга-поминовение, кадиш и одновременно отчаянная и искривленная попытка удержать

ушедший навсегда мир наших предков. Началом этой книги было письмо дочери из лагеря, ей хотели вы открыть мир своего детства, ей передать память обо всех, кто был вам дорог. Ибо только память – залог их бессмертия.

Верите ли вы, что сейчас «Позавчера и сегодня» сумеет пробудить чью-нибудь память о прошлом? Или, быть может, сегодняшний читатель хочет оставаться манкуртом, ведь налегке проще шагать по просторам, для чего же тащить на спине мешок, набитый ветошью воспоминаний?

Я же писал свою книгу не для манкуртов. Я писал ее для тех, кто хочет вспомнить. И, прежде всего, для моей дочери. Каждый человек должен знать, кто он и откуда. Никто в этом мире не сам по себе. Я ведь никому не навязываю свои воспоминания, свои переживания – теперешние и позавчерашние. Я писал эту книгу для тех, чей камертон настроен на мое звучание. И в этом нет ничего исключительного. Никакая книга не пишется для всех. Даже детектив. Поэтому я вовсе не считаю, что моя книга должна была выйти огромным тиражом, чтобы попасть в каждый дом. Но она найдет своего читателя. Если 2000 человек или 200, или 20, прочитав эту книгу, испытают хоть частично то, что переживал я, когда писал ее, если она разбудит их память, их грусть по ушедшим, их надежду на то, что и их не забудут – это уже счастье. И я буду считать, что сделал все, что мог.

Вы считаете, что это будут не только ваши сверстники, которым книга навеет воспоминания о своем детстве, в чем-то схожем с вашим? Надеетесь ли вы, что она найдет отклик у более молодых читателей: два таких читателя у вас есть – это я и Слава Полищук, художник, чьи рисунки сопровождают книгу. Мы, люди другого поколения, которые и через вас, и через своих родителей все это помним и любим, и, думая о

будущем, оглядываемся назад, силясь различить сквозь туманную пелену лет до боли знакомые лица наших прабабушек и прадедушек, которых никогда не видели, полустертые их имена на покосившихся старых надгробьях исчезнувших с лица земли еврейских кладбищ, их едва уловимые голоса, благословляющие нас и наших детей. Верите ли вы, что молодые читатели откликнутся на зов вашей души?

Да, я в этом уверен. И более того, я думаю, что сегодня их больше, чем было вчера, а завтра будет больше, чем сегодня. Потому что у каждого нормального человека есть какая-то незаполненная душевная ниша, и моя книга наверняка поможет кому-то заполнить эту нишу, этот душевный вакуум. Я очень на это надеюсь. Одушевленная по крупицам память о прошлом есть начало мечты о будущем. У стариков нет будущего, оно есть у молодых, поэтому им особенно необходима память о прошлом.

В подготовку этой рукописи к изданию вложено много доброго тепла, сопереживания, творческого участия. Помню при каждом прочтении текста удушливый ком в горле, учащенное дыхание, будто силишься догнать, приблизиться – и вот уже отчетливо видишь то, чего никогда не знал, и слышишь не тебе и не тобою сказанное и с удивлением обнаруживаешь, что ты все это помнишь. Неподдельная искренность автора, ваша искренность, открыла какую-то потайную дверь в мир неведомый, но истинно и сокровенно твой.

А как мы плакали, в первый раз увидев эскизы оформления книги, сделанные Славой Полищуком! Как, по-вашему, в чем секрет такого единения? Что заставляет людей разных поколений так глубоко, так личностно переживать рассказанную вами историю вашей семьи?

Ведь вы же буквально в последних строках книги, будто оправдываясь перед будущим читателем, снова подчеркиваете: «Не притворяясь, я писал это как письмо дочери».

Может, секрет в том, что – не притворяясь?

Да, эта книга написана абсолютно бесхитростно и искренне. Таков был замысел, таково было мое душевное состояние, когда я изо дня в день (точнее – каждую ночь) писал, отбивая у небытия пядь за пядью прожитой жизни. Все это было устремлено в будущее. И все вместе было счастьем.

Счастьем была и работа над рукописью при подготовке ее к изданию. Иметь редактором книги человека, которому дорого каждое твое слово, душа которого сочувствует каждому твоему переживанию, плачет над твоим горем и радуется твоей радости, человека, которому ты доверяешь самое сокровенное, зная, что он его сохранит и защитит, – это ли не счастье?

Рисунки Славы Полищука к моей книге поразили меня точностью совпадения с моим видением прошлого, с моим ощущением прошлого, и болевым, и радостным, будто ему удалось каким-то таинственным образом заглянуть в те далекие времена, о которых я пишу, хотя сам он родился лишь полвека спустя.

Волею случая, какого-то странного, но, несомненно, счастливого совпадения, книга эта обрела свою плоть под добрым знаком Полищуков. Иметь таких единомышленников – счастье для каждого человека, независимо от профессии. Ибо сопереживание, соучастие – это то, чего нам так недостает в жизни.

Спасибо вам за теплые слова. Давайте помечтаем о работе над вашей новой книгой, мне очень хотелось бы еще раз так же остро пережить наше родство, абсолютную доверительность. И снова порадоваться,

как сейчас, держа в руках сигнальный экземпляр новой книги. Давайте выпьем за это.

Выпьем мы непременно, и может быть, даже напьемся – повод все-таки есть: выход этой книги для меня огромное событие. И помечтать можно, ну, разумеется, я бы тоже этого очень хотел. Но твердо обещать не могу, боюсь вас обмануть. Я все-таки очень стар.

Не буду спорить. Давайте лучше выпьем.

Спонсором книги «Позавчера и сегодня» был московский бизнесмен Илья Колеров.

Из книги
**«ПОЗАВЧЕРА
И
СЕГОДНЯ»**

Перечитывая все, что я писал долгими зимними ночами в конторке планового отдела, вижу, что рассказал в общем-то банальную историю о том, как размышлялась жизнь маленького еврейского городка, как складывались события в одной обычной для этого города семье...

У меня нет ни права, ни оснований считать этот рассказ настолько исключительным, чтобы превращать его в мемуары.

Но это вовсе и не мемуары.

Не притворяясь, я это писал как письмо к дочери. Письмо оттуда – из исчезнувшего навсегда мира, откуда я родом, а следовательно, и дочь тоже.

По первоначальному моему замыслу тетрадь должна была попасть к Наташе, когда ей исполнится восемнадцать. План был хороший, почти из старинного сентиментального романа. Я представлял себе, как моя повзрослевшая дочь хранит в заветном месте эту тетрадь и время от времени возвращается к ней, чтобы почувствовать себя дочерью своего отца...

А пока...

Что она сделает с этим письмом – не знаю.

Может быть, прочтет и забудет. Может быть, сохранит и через много-много лет перечитает его. Может быть, моим бесхитростным и простодушным рассказом заинтересуется в неизвестном мне будущем какой-нибудь собиратель свидетельств очевидцев необыкновенного времени.

Ну, не знаю ничего о будущем этой тетради!

А пока... Пока я прощаюсь со своей дочерью.

Храни тебя Бог, в которого я не верю!

ОТЕЦ

Читатели русских газет и журналов начала нашего века на всю жизнь, наверное, запомнили назойливо вбиваемое в голову название «Крем Казими-метаморфоза». На каждой последней странице большинства газет и журналов – от «Вестника Европы» до «Сатирикона» – среди объявлений и реклам обязательно бросались в глаза эти слова над изображением бассейна, в котором резвились одалискообразные женщины и мужчина, лицо которого было аккуратно разделено пополам. Одна половина блистала свежестью и чистотой, другая – от множества веснушек напоминала кукушечье яйцо. Это была реклама крема против веснушек, «единственного крема, удаляющего все веснушки на лице и руках» – как гордо сообщало рекламное объявление. То ли крем действительно был «единственным», то ли реклама его была мастерски поставлена, но «Крем Казими-метаморфоза» был чрезвычайно популярен в дореволюционной России.

И мало кто знал, что эти тщательно упакованные нарядные баночки с необыкновенно приятным своеобразным запахом изготавливаются в незаметном городе Могилевской губернии – Горы-Горки. Разорившийся польский шляхтич Казимир Падзерский, вынужденный стать провизором в маленьком и грязном белорусском городке, благодаря изобретению крема против веснушек составил себе большое состояние и приобрел громкую славу среди ревнителей белой, не тронутой загаром и веснушками кожи. Он построил в Горках прекрасный большой каменный дом, украсил его фламандскими картинами, редким фарфором, музейными коврами – он имел вкус к вещам, этот шляхтич, – и с удовольствием отдался страсти к приобретениям. Позади дома он разбил огромный сад с редкими сортами фруктовых деревьев, цветниками, фонтанами, золочеными клетками, в которых разгуливали павлины.

Все эти блага добывали для него люди, работавшие в длинной полуподвальной мастерской во дворе. На рекламных объявлениях была нарисована «Парфюмерная фабрика Казими-метаморфоза» – многоэтажная, с длинной, тонкой трубой, из которой шел игривый завиток дыма. Все это было неправдой. В действительности «фабрика» была кустарной мастерской, в которой трудились всего несколько десятков рабочих. Одним из них был мой отец.

У моего старшего брата Соли – хранителя семейных реликвий и фотографий – был старый фотографический снимок: на нем все, кто делали крем «Казими-метаморфоза». В центре, в окружении мастеров и наиболее приближенных рабочих, сидит сам Казимир Падзерский. Поодаль от него сидят и стоят рабочие победней. Среди них – отец, молодой, с закрученными усами, с ясными, живыми глазами за стеклами очков, в грубом брезентовом фартуке. Место его на фотографии довольно точно определяло и его положение на фабрике Падзерского. Он был рабочий-упаковщик и не допускался к тщательно охраняемому хозяином таинству смешения масел и духов, из которых составлялся знаменитый крем. Тем не менее запахом этого крема отец был пропитан до того, что даже пасхальные омовения и праздничная одежда не могли его приглушить. И этот запах неизменно связан с моими воспоминаниями об отце.

Отца я любил страстно. Он был моей первой привязанностью, к нему я питал какое-то особое чувство, сродни обожанию. Каждый вечер был праздником – потому что приходил с работы отец, и жизнь сразу становилась интересной, вкусной, еще вкуснее, чем днем. Он приходил усталый после долгого рабочего дня, но для детей всегда находил улыбку, ласковое слово, а то и конфету, пропахшую запахами крема против веснушек. Его легко было уговорить изготовить лодку из сосновой коры, сыграть на флейте, просто походить с нами по тихой вечерней улице.

Моя пылкая и восторженная любовь к отцу вызывала удивление и снисходительные насмешки взрослых. Быва-

ло, мать, уходя в гости, отведет меня к знакомым и уговорится с отцом, что тот зайдет за мной. Я сижу в большой комнате, среди знакомых и полужнакомых людей и чутко вслушиваюсь в наступающий вечер, в шаги на улице. И злые взрослые догадываются, почему я молчалив и насторожен. Какой-нибудь шутник обращается ко мне и с удивлением в голосе говорит: «А ты все отца ждешь, мальчик? Не жди – его повесили на перегорелой соломинке». Я знаю, что эта шутка, что моего большого и доброго отца нельзя повесить на соломинке, да еще перегорелой. Но чем больше я думаю об этом, тем страшнее делается от одной только мысли, что отца могут повесить – пускай хоть на соломинке.

Я начинаю плакать. Ни громкий смех, ни шутки окружающих не могут меня успокоить. Я плачу все громче и громче, в какой-то тайной уверенности, что чем сильнее я буду плакать, тем скорее увижу отца. Слезы заливают мое лицо, праздничную курточку, и, когда мои рыдания, несмотря на все попытки хозяев успокоить меня, становятся совершенно безудержными, я слышу, как открывается дверь на кухне, слышу знакомое покашливание, шарканье вытираемых ног и бегу навстречу отцу. Меня окутывает родной и милый запах крема «Казими-метаморфоза», я прижимаюсь к отцовским коленям и плачу еще сильнее – на этот раз от счастья, что он здесь, со мною, и навсегда со мною будет. Натруженные, заскорузлые руки отца гладят меня нежно и осторожно, он приподнимает меня, я слышу его укоризненный голос, но уже не в состоянии отвечать – я выбился из сил от плача. Спокойная, счастливая сонливость одолевает меня, и я уже чувствую, как отец бережно уносит меня домой.

Среди моих многочисленных родственников отец имел не слишком завидную репутацию человека, не хватающего звезд с неба, не умеющего найти легкую работу, обеспечить семье сытую и безбедную жизнь. Таково было отношение еврейской мещанской среды к человеку, не

пытавшемся стать ни маклером, ни ремесленником, избравшему для себя профессию рабочего.

Думая об отце – а я о нем сейчас очень часто и много думаю, – я прихожу к заключению, что чертой, наиболее ярко в нем выраженной, было чувство долга. Жизнь представлялась ему несложной, но требующей упорства и преодоления. И он преодолевал ее молча, не отступая от правил, раз и навсегда принятых. Каждое дело, за которое он брался, он делал медленно, но основательно, не ловча, не хитря. Он был хорошим семьянином, очень любил своих детей и считал себя вечным их должником. Чтобы заработать на хлеб детям, обуть и одеть их, он готов был копать канавы, чистить улицы, выполнять самую черную работу. И он ее делал – без жалоб, молчаливо, как должное.

По всем понятиям среды, из которой он вышел, отец мог сделать себе «карьеру» при советской власти. Его родные были крупными работниками, с первых же лет революции отец шел всегда за большевиками. И тем не менее он не стал «комиссаром», не носил кожаной куртки, не выступал на митингах – он остался таким же рабочим, как и раньше. В начале тридцатых годов отец работал на фабрике в Москве и был одним из самых уважаемых людей в своем коллективе, избравшем его в Московский Совет. Но и здесь он оставался таким же тихим и скромным человеком, незаметно делающим свое дело. В самые трудные годы я никогда не слышал от него ни одной жалобы. Году в тридцать втором – тридцать третьем, когда в Москве было очень голодно, я прибегал в родительский дом (я жил тогда уже отдельно) и немного удивлялся, что родители похудели, побледнели, что мои любимые блюда, которыми неизменно угощала мама, стали более постными, не такими вкусными, как прежде. И только тогда, когда получил кучу каких-то пайков и принес их маме, я узнал, что много месяцев родители мои не видели мяса, не ели ничего, кроме скудного рядового пайка тех трудных лет.

Как и большинство людей, отец мой был честолюбив. Но это честолюбие проявлялось в одном – в гордости за

своих детей. Он никогда не вмешивался в нашу жизнь, предоставлял нам полную самостоятельность, и в то же время страстно, с любовью и гордостью следил за нашими первыми жизненными успехами. Журнал с моей статьей, газету, в которой говорилось о работе другого сына, Соли, он всегда клал на видное место и сердился на маму, когда она их убирала во время уборки. Он любил выпить, мой отец, и тогда в кругу родных и друзей любимой темой наивного хвастовства были его дети.

Думая сейчас об отце, поражаюсь душевному отупению, овладевшему мной позже, в самостоятельной жизни. Как я любил отца в детстве и как отвратительно равнодушно и снисходительно общался с ним, став взрослым. До сих пор не понимаю природы этого!

Как все в нашем роду, отец был радикально настроен. В юности, до женитьбы, увлекался политикой, был членом «Бунда», а уже очень немолодым, обремененным большой семьей, в 1924 году, в «Ленинский призыв» вступил в партию. Почему? Не корысти ради. Всю жизнь до самой смерти он был рабочим и никогда не пытался изменить свой социальный и общественный статус.

Отец, при всем своем вольнодумстве, был по натуре глубоко верующим человеком. Марксизм-ленинизм ему заменил не созревший в нем иудаизм. Был он не очень грамотным, книги читал редко, но в свободные часы брал «Азбуку коммунизма» Бухарина и Преображенского и читал – медленно, про себя, шевеля губами. Часто он не понимал какой-нибудь марксистско-теологический термин и робко обращался к Соле или ко мне за разъяснениями. И мы быстро, как надоевшему школьнику, объясняли, что и как, торопясь в ячейку, в театр, на диспут. И убегали, слыша за спиной тихое, будто виноватое покашливание отца.

С партией он расстался так же спокойно и обдуманно, как вступил в нее. Он был уверен, что вступает в партию, добивающуюся равенства для всех людей. Свое положение в обществе он считал нормальным, но не мог понять, почему утверждение справедливости должно сопровождаться жестокостью. Он был убежден, что рабочий класс делает революцию, чтобы жить лучше и справедливее. Жизнь неумолимо выбивала из него эту убежденность. И когда его начали таскать по райкомам – ибо уже два сына сидели в тюрьме, а два любимых племянника были расстреляны, – он наивно и убежденно говорил людям за казенным зеленым сукном:

– Мы же не для того делали революцию, чтобы наших детей сажали в тюрьмы.

И однажды вынул из кармана бережно хранимый им, как икона, партбилет, положил на стол и ушел.

А когда его любимый сын в отчаянье воскликнул: «Как ты мог так спокойно расстаться с партией? Вспомни, с каким трудом тебя принимали из-за того, что ты был бундовцем!» – отец со своим обычным спокойствием ответил:

– Сынок! Так я же из этой партии вышел! А вступал тогда в другую, совсем другую...

Ну да, он так думал, так думали тогда многие, стараясь обмануть себя, защитить свою совесть, свое сознание.

Теперь, когда кости моего отца лежат в давно уже исчезнувшей могиле маленького татарского городка Билярска, я вспоминаю его часто с грустью и жалостью. Ну зачем этот добрый и очень хороший человек оказался втянутым в этот дьявольский хоровод? Мы – его дети – понятно еще почему, мы согрешили, мы за это расплатились, а он-то зачем?!

Он писал мне в лагерь каждую неделю. Каждую неделю я получал большой, вырванный из конторской книги лист

бумаги, исписанный крупными буквами, не очень грамотно. Отец сообщал мне о всех домашних новостях, о моей дочери, о том, что меня все и всегда любят и ждут. По-прежнему в его письмах чувствовалась неиссякаемая и огромная любовь к своим детям, гордость за них. Когда Соля стал профессором и вышла его книга, отец мне обстоятельно описал и толщину книги и цвет обложки, и цену, и то, что на титуле перед фамилией автора стоит звание – профессор. С прежней аккуратностью он продолжал мне писать и в военные годы, из эвакуации. Последнее письмо было написано за десять дней до его смерти. Смертельно больной, он настойчиво и упорно уговаривал меня жить, цепляться за жизнь, выжить, чтобы увидеть лучшее, испытать счастье, которого он добивался для своих детей – мой добрый, мой хороший отец!

МАТЬ

Мать моя была человеком с совершенно другой духовной конституцией, нежели мой отец. Насколько ясны, прямолинейны и открыты были душевные помыслы и поступки отца – настолько же сложна и глубоко спрятана от людей была духовная жизнь моей матери. С тех пор как себя помню, я всегда все понимал в своем отце: сердится ли он, или радуется, чему он радуется, на что сердит, как относится к людям, явлениям, событиям – все мне было понятно. И с этих же лет меня никогда не оставляло ощущение того, что я не в силах проникнуть в душевную жизнь матери, разгадать ее мысли, ее желания.

Бывало в субботние кануны я остаюсь один с мамой дома. Отец с двумя моими старшими братьями, Солей и Ильей, ушел в синагогу. В доме уже все чисто, прибрано, грядет царица-суббота. Я сижу в углу, притихший, и меня удивляет и обижает, что мама, обычно такая ко мне внима-

тельная, не замечает меня. Она сосредоточена и медленно – совсем не так, как всегда, – достает из комода праздничную скатерть, накрахмаленную, с пышной бахромой, стелет ее на стол, вставляет в подсвечники новые свечи, зажигает и останавливается в задумчивости перед ними. Я смотрю на маму внимательно, стараясь понять: что в ее лице появилось нового, совершенно для меня незнакомого? Она стоит перед горящими свечами в праздничном платье с кружевной наколкой на голове, ее молодое лицо напряжено от какой-то внутренней духовной работы; лоб ее то собирается в морщины, то разглаживается; губы шепчут что-то мне непонятное. Она разводит руками над пламенем свечей, закрывает глаза, и на скатерть, оставляя большие мокрые пятна, падают слезы. Мама беззвучно плачет, и мое детское сердце трепещет от волнения. Так же трепещет оно и сейчас, когда я вспоминаю эти вечера.

О чем она плачет, моя мама, чего она просит? Счастья ли своим детям, удачи ли в жизни – какой смысл вкладывает она в эти слова? Мне это было неизвестно в детстве, и когда пришла к концу жизнь моей мамы, мне это неизвестно и сейчас, когда я сам уже близок к этому рубежу.

Мама была очень умна. С молчаливым уважением это признавали все, кто ее знал, даже в девичьи ее годы. Всегда к ней ходили за советами по самым разным жизненным вопросам женщины даже с отдаленных улиц. Считалось, что она обладает какими-то редкими способностями, знает секреты лечения некоторых болезней.

Не только незаурядный природный ум, но и большие духовные запросы выделяли мою мать среди женщин ее круга. Мама много читала, еврейскую литературу она знала в совершенстве, великолепно владела литературным еврейским языком, и ее письма служили образцом эпистолярного искусства. Она не только знала огромное количество еврейских народных песен, но и сама сочиняла песни. И, уже будучи взрослым человеком, я с удивлением узнал, что некоторые песни, услышанные в детстве от посторонних людей, сочине-

ны мамой еще до ее замужества. Любовь к книгам, песням она стремилась привить и нам, своим детям. В длинные зимние вечера, когда мы вынуждены были сидеть дома (у нас не было обуви), мать подолгу читала нам Шолом-Алейхема, Переса, Менделе Мойхер-Сфорима. Читала она по-еврейски необыкновенно выразительно и красиво, выделяя не только мысль писателя, но и поэзию, красоту его слов.

К концу своей жизни мама была больной, раздраженной, страдающей от того, что жизнь сложилась неудачно, даже трагически. Трагедия состояла не только в том, что дети ее разбредлись, что их сажали в тюрьмы, держали в лагерях, что старость оказалась одинокой и тоскливой, рядом была только внучка, не желавшая считаться ни с интересами, ни с привычками старой бабушки. Нет, трагедия маминной жизни была глубже. Все духовные интересы ее были тесно связаны с умирающим миром еврейской культуры. Только этот мир был ею понятен и ею любим. В своих песнях мама воспевала поэзию еврейских праздников, религиозных традиций, национального единения евреев. «Нас угнетают, мы странны и смешны другим людям и народам, но зато мы цари, когда объединяемся, мы богаты, потому что у нас есть Песах, наши молитвы, наши песни» – так говорится в одной из маминых песен.

Замужество и долгие годы забот о семье, детях, их болезни, нужды, необходимость защитить их от голода почти лишили ее той духовной жизни, которой она жила прежде. Тщетно пыталась она привить нам любовь к тому, что было любимо ею. Безнадежна была ее борьба с могучей машиной жизни, и маме пришлось увидеть, как все, что ей было дорого и близко, становилось ненужным, чужим и смешным для того круга людей, в котором она жила и вне которого у нее ничего не было.

Пыталась ли она сопротивляться этой чужой для нее жизни, чужим и враждебным ее натуре интересам? Нет, конечно. И не потому, что у нее не хватало характера, воли, – она не могла бо-

ротья со своими собственными детьми. Ее, конечно, огорчали и наша мальчишеская агрессивность, и благоприобретенная демагогия, просто хамство. Она нас останавливала. Но с таким тактом, с такой деликатностью, какую мы с трудом воспринимали.

Году, наверное, в двадцать первом, когда из исчезнувших продуктов ощутимее всего стало отсутствие соли, мама, что случилось с ней редко, вслух высказала недовольство. Я уже тогда был напичкан бесчисленными, прочитанными мною агитационными брошюрками, считал себя якобинцем, народовольцем, большевиком и еще неизвестно кем и объяснил маме, что она обыватель и не в состоянии оценить величие времени и необходимость терпеть такую малость, как отсутствие какой-то соли. Мама, как всегда, смолчала. Было время обеда, мама варила мое любимое блюдо – гороховый суп.

Я съел первую ложку супа и остановился: он был совершенно несоленый. Я поднял глаза на маму. Она смотрела на меня спокойно, без всяких признаков гнева или раздражения. Я поперхнулся и под пристальным взглядом мамы с трудом съел любимый суп, оказавшийся без соли невкусным и даже противным варевом. Больше я по поводу необходимого для революции терпения не высказывался и назавтра ел нормальный подсоленный суп.

Нет, мама не могла сопротивляться этой чужой жизни, которая отнимала у нее – шаг за шагом, день за днем, год за годом – все, что было главным в ее духовной и душевной жизни. Она лишилась не только того еврейского мира, какой она любила, которому была предана. Она лишилась большего – Бога. Еврейского Бога, в чью справедливость, величие и всемогущество она

непоколебимо верила. В нашей безбожной семье она была единственной, кто убежденно проявлял свое еврейство. Мама не ходила уже в синагогу, не соблюдала строгих правил, не считалась с запретом смешивать молочное и мясное, вероятно, примирилась с невозможностью отличать кошерное от трефного.

Но в пятницу она зажигала в своем углу на подоконнике две тоненькие свечки, а за столом, угощая нас всеми лакомствами тогдашней обильной Москвы, никогда не притрагивалась ни к аппетитному розовому салу, ни к разнообразным и вкуснейшим колбасам, инкрустированным шпиком. И, при всей грубости, свойственной времени и молодости, мы никогда не затрагивали эту сторону маминой жизни и не отпускали шуток, хоть бы и безвинных. Но я однажды пошутил и сейчас содрогаюсь, вспоминая маминно лицо и ее глаза.

Это было в конце сорок пятого года, когда нам, отбывшим сроки и продолжающим работать в лагере, вдруг выдали паспорта и отпустили в месячный отпуск. Конечно, ни в Москву, ни еще в 272 города мне являться не следовало, но кто мог меня удержать от свидания с мамой и дочерью! Я приехал богатый: весь сухой паек на месяц мой приятель главбух выписал мне американской тушенкой, бразильской ветчиной, яичным порошком.

Как изменилась мама за эти семь лет! Высохшая и внутренне потухшая, одна – без мужа, умершего в эвакуации, без благополучных и здоровых сыновей. Старший – на фронте съездил по морде начальнику, схлопотал штрафбат, уцелел благодаря тяжелому ранению и до сих пор не вылезает из тыловых лазаретов; средний –

вот он сидит вроде как бы и свободный после семи лет... И все же мама смотрит на меня так, будто видит мое будущее: ссылку, новый арест, срок, лагерь... И младшенький, которому она выплакала замену восьми лет лагерей на три, отбыл свой маленький срок, отвоевался, был многожды ранен и служит до сих пор в оккупационных войсках.

В порыве собственной радости я не умел пробить пелену печали и тоски, окутавшую маму. И видя, как она кладет себе на тарелку кусок ветчины, с шуточным испугом, как-то сказал ей:

– Мама! А как же Бог? Ты ведь еврейка!

Мама не принимает моей шутки. Она подымает ко мне навсегда заплаканные, потускневшие глаза.

– Какой он мне Бог, такая я ему еврейка...

И я замолкаю. И тогда, и много позже, вспоминая маму, я думал о том, что мы отняли у нее Бога.

Наши родители совершенно не вмешивались в нашу жизнь, проявляя в этом не столько «нейтралитет», сколько величайшую деликатность. А у нас не хватало ни ума, ни такта для того, чтобы понять, как оскорбительно было для родителей, и прежде всего для матери, что мы не считали нужным не только советоваться с ней, а даже сообщать о самых важных событиях в нашей жизни. О женитьбе своих сыновей она узнавала от посторонних, с невестками знакомилась, когда должны были появиться внуки и требовались ее помощь и участие. И, от природы замкнутая, мать становилась еще менее общительной, все чаще неодобрительно сжимала губы, все больше холодной рассудочности появлялось в ее словах и поведении.

Так постепенно угасал огонь ее жизни, она превращалась в вечно всем недовольную, постоянно опасуюсь за завтрашний день старуху. Единственно близ-

ким, неразрывно с ней связанным человеком оставалась моя дочь Наташа, и на ее долю выпала вся мера старческого раздражения и ропота, которая в любой нормальной семье равномерно распределяется между всеми ее членами. Но ей же, Наташе, почти полностью досталась и вся мамина любовь. Любовь, запасы которой у нее были огромны, неисчерпаемы.

Из
«“СЕМЕЙНЫХ”
БЕСЕД»

Мы с вами почти все время говорим о политике, о выборах, об убийствах и казнях, о думских распрях, о нашей борьбе за светлое будущее. Все это волнует, все это наша жизнь – никуда нам не деться от этого. И все же, ей-Богу – в жизни человека есть что-то более значимое, чем президент и парламент. Давайте поговорим тихо, по-семейному, совсем о другом, о сокровенном, о чем только с близким и можно поделиться. Не возражаете?

Не возражаю ли я? Ни в коем случае. С вами я готов говорить обо всем, если я вам еще не надоел.

Не надоели, стала бы я приходить так часто. Никто мне такого задания не давал, между прочим. Я вас просто люблю.

И я вас люблю, как дочь. А после того, как умер ваш папа, даже какую-то ответственность чувствую. Когда-то ведь (и это уже не за горами) и моя Наташка останется одна. Душа болит за вас и за нее. Правда, у вас есть замечательная сестра.

Сестра – это отдельный сюжет. Я сейчас пишу одну вещь – «Роман-мираж, или Сестры», закончу – дам вам почитать и тогда поговорим об этом подробнее. А сейчас, раз вы вспомнили моего папу, я хочу задать вам один вопрос, который так и не решилась задать ему: о чем думает старый человек перед сном? Не страшно засыпать, не пугает мысль, что утро может не наступить? Если не хотите, не отвечайте.

Мы же договорились – откровенно. Прежде всего старый человек перед сном думает о том, чтобы уснуть. Потому что бессонница – это тяжелое испытание. Тут накатывает все – воспоминания, угрызения совести, тоска по ушедшим. У старого человека почти все в прошлом, вот он и вспоминает. Но это вовсе не так плохо. Есть ведь и хорошие воспоминания, светлые, вспомню какой-нибудь маленький эпизод из нашей с Рикой жизни и засыпаю счастливый. О смерти не думаю никогда. Старость близка к смерти, это неизбежно, думай не думай. Болеть не хочется, мучиться и мучить Наташку.

А старым вы себя чувствуете? Мне даже неловко вас об этом спрашивать – вы такой красивый, много работаете, в курсе всех событий, мгновенно откликаетесь на самые острые ситуации. Нет, вы не старик.

Нет, я не старик, я – старый человек. Не помню, где я прочитал: «в несоответствии моих желаний и моих возможностей трагедия моей старости». Абсолютно верно. Когда умерла Рика, мне было 83 года, мне казалось, что жизнь кончилась, что с ней ушло все. Да и что еще могло произойти в моей жизни? Все уже было, и 47 лет было с ней. Я ничего уже не ждал и не хотел. А вот прошло несколько лет, и я живу, и езжу без Рики по разным странам, и смотрю телевизор, и читаю, переживаю, смеюсь и радуюсь. И даже мечтаю.

О светлом будущем?

Да, обязательно, о светлом будущем, до которого я не доживу, конечно. Но это вовсе не означает, что оно не настанет. И что мне не интересно думать о нем. Да, я мечтатель и фантазер, и таким остаюсь в 90 лет. Может быть, специалисты знают, что это какое-то отклонение от нормы. Но я так не думаю. Поэтому и книгу хочу написать, которую задумал, – «Аллея праведников», кое-что из этой книги уже

живет во мне. Беда в том только, что писать ленюсь, все ищу и нахожу какие-то отговорки и причины. Может быть, научусь пользоваться диктофоном, и буду наговаривать свои мысли, как многие, в том числе и вы, мне советуют. Вообще-то у меня с техникой отношения сложные, скорее всего, буду стучать на своей старенькой машинке, так привычнее. Помните, у Анатолия Рыбакова над письменным столом висел плакат: «Чтобы написать, надо писать». Бесхитростно и точно.

А еще о чем вы мечтаете?

Почти как в детстве: о новых книгах, о новых городах. Правда, читаю я сейчас мало, то есть книг читаю мало. Как-то постепенно чтение прессы, без чего я уже жить не могу, стало вытеснять чтение книг. И еще в одном нужно сознаться: читаю меньше, потому что стал больше смотреть телевизор, – все новостные программы, пресс-клубы, дебаты, появилось много новых программ, часто спорных, безусловных, но мне это интересно. Я не просто смотрю, я участвую в них – иногда вслух матерюсь, иногда вместе с Наташкой, иногда мы вместе с ней возмущаемся, а иногда спорим до хрипоты. Это тоже жизнь.

И путешествия – жизнь. И вы не боитесь садиться в самолет после всех ваших инфарктов?

Их не так много было, всего четыре, но даже после последнего, уже после 90-летия, я все-таки поехал в Италию. В этом нет никакой смелости или сумасбродства. Ну какая разница, где умереть. Если я не умер в лагере, то теперь все равно. Я ведь знаю, что скоро умру. Ну не сидеть же дома, сложив руки на груди, в ожидании этого последнего в своей жизни события. Нет уж, пусть она меня ищет. Я ведь умирать не хочу. Мне нравится жить. Жить интересно! Вы улыбаетесь, – хотите сказать, что я впал в детство?

Ни в коем случае! Я помню, конечно, что так называется глава о ваших детских впечатлениях в книге «Позавчера и сегодня». Но то, что вы говорите это сегодня, по-моему, прекрасно. Я вам даже немножечко завидую.

Вы не должны мне завидовать. Вы еще так молоды, у вас без всякого преувеличения вся жизнь впереди. Это же так прекрасно – все неожиданное, что поджидает вас. Вот ведь я радуюсь жизни, понимая, что в самое ближайшее время она закончится и что все хорошее, что мне суждено было пережить, уже в прошлом. Но я каждому прожитому дню радуюсь, и с интересом думаю о завтрашнем дне. Не о будущем вообще, хотя и эти мысли меня очень занимают, а о конкретном своем завтра.

Вы никогда не писали о любви, хотя любовь в вашей жизни была, большая, настоящая, сильная, прошедшая все испытания, все пережившая. Эта любовь сопровождала вас долгие-долгие годы. Многие считают, что такой любви не бывает, что все это выдумки романистов. Может быть, и я бы так считала, если бы не пример моих родителей. И ваш пример. Так почему же – никогда ни слова о любви?

Я думаю, потому что это не моя тема в литературе. О своей любви писать трудно, да и странно. А придумывать сюжеты о любви мне никогда не хотелось – их столько в мировой литературе. Да мне и не надо было ничего придумывать. В самые трудные мои лагерные дни я как бы назло им, палачам и извергам, с упрямой надеждой думал: я это все вам напомним. Мне кажется, это поддерживало мое желание выжить. И я выжил. И когда пришел в себя от круговерти и угара свободной московской жизни, стал писать обо всем, что было, обо всем, что пережил и запомнил. Это была моя обязанность.

А о любви?

Долгое время я не то что писать, такое мне не приходило в голову, но и говорить, и даже думать не мог о своей первой жене Оксане, которая погибла в 1938 году на этапе в двадцать два года, – я умирал от боли этих воспоминаний, от жалости и от чувства своей вины. Я не мог ее защитить, я знаю, но чувство вины осталось. Хотя я и подписал протокол, признаваясь в клевете на советскую власть и контрреволюционной агитации. Подписал потому, что следователь Лобанов пообещал мне за это немедленно освободить мою жену и свояченицу, пообещал, что Оксане тут же дадут инсулин, который был ей жизненно необходим... Конечно, он обманул меня, этот мерзавец. И Оксана погибла. Он дал мне честное слово коммуниста, и я поверил. Я часто спрашивал себя потом – неужели поверил, неужели столь наивным был? Или просто это был шанс спасти мою жену? Наверное, и то, и другое. Помню, как Оксана обняла меня на лестничной площадке, когда меня уводили из дома, обняла так, что я понял – она прощается со мной навсегда...

Ваш второй брак был долгим и счастливым. По-настоящему счастливым. О счастье трудно рассказывать, но, пожалуйста, расскажите.

Мы познакомились в Устьвымлаге в 1944 году. Я тогда был на положении ссыльного, работал в «своем» лагере, где отбывал срок, выполнял ту же работу, но жил в бараке за зоной. Ревекка Ефремовна Берг, Рика, моя жена, тоже была ссыльной, только на другом, соседнем лагпункте. Мы с ней тогда были коллегами: она – старший нормировщик, и я – старший нормировщик. И как ни смешно это звучит, познакомились мы на производственном совещании, там это тоже было: лесозаготовки – дело серьезное. Встретились, познакомились и полюбили. Мы были свободны и счастливы. Не очень свободны, поскольку ссыльные, но очень сча-

стливы. По субботам, отмахав от своего лагпункта до ее лагпункта около тридцати километров пешком, я приходил к ней, мы устраивали пирушку, объединив свои скудные лагерные пайки, и говорили, и любили, и мечтали. Ради этого стоило жить. А потом и вовсе – мы получили «окошечко» и, побыв недолго «нелегалами» в Москве, поселились в городе Ставрополе, где можно было жить с 39-й статьей в паспорте. Я работал методистом в кабинете культпросветработы, а Рика машинисткой, у нас был свой угол, в самом прямом смысле этого слова. Жизнь была прекрасна. Но очень скоро Рiku повторно арестовали и приговорили к вечной ссылке в Красноярском крае. Мы понимали, что вскоре арестуют и меня, и мечтали о том, как замечательно будем жить в далеком сибирском крае. Замечательно, потому что вместе. Однако случилось не так. Меня арестовали, но приговорили не к ссылке, как мы мечтали, а к 10 годам лагерей. Это была катастрофа, крушение всех наших планов и надежд. Казалось, что это конец. Мы понимали, что такой долгой разлуки нам не пережить и вряд ли когда-нибудь доведется встретиться. Нас разделяло огромное расстояние: она – в Красноярском крае, я – в верховьях Камы, в Усольяге. В маленькое село, где жила Рика, почту возили на санях, но что удивительно – в течение пяти лет мы ежедневно писали друг другу письма, и они доходили.

Не сохранились, конечно? Это был бы замечательный роман в письмах.

Нет, не сохранились. У Рики был рефлекс – рвать все письма, чтобы никто чужой не мог их прочитать. А я хранил ее письма, но их отняли у меня при одном из обысков.

А дальше что было?

Дальше сдох Сталин. Мы, наконец, поселились в Москве и жили долго и счастливо. А в декабре 1991 года Рики не стало.

Какое счастье, что Сталин сдох в 53-м году! Мы не переставали радоваться этому всю жизнь. В первые годы свободы, помню, мы отдыхали где-то в Грузии у моря и, прогуливаясь по берегу, доходили до огромной статуи отца народов, и Рика не отказывала себе в удовольствии повторять: «Видишь, ты сдох, а мы гуляем!»

В вас и сегодня влюблены многие женщины, это не секрет. Нетрудно себе представить, что было раньше. Рика Ефремовна ревновала вас?

Может быть, я давал ей такой повод, я не был безгрешен. Но я любил ее всю мою жизнь. Она это знала.

Для человека очень важно ощущение дома. Дом, свои стены, свой угол, где все привычное, все на своих местах, где можно спрятаться от окружающего мира, побыть наедине с собою. Закрывать за собой дверь – иногда это так важно. Сейчас у вас есть свой дом, не хоромы, конечно, но даже свой кабинет есть – кабинетик. А раньше? В общей камере, в лагерном бараке – спасали мысли о доме?

Ни в коем случае. Наверное, я понял это как-то подсознательно. Попав в первый раз в камеру, я переоделся, надел домашние тапочки и услышал обращенные ко мне слова соседа по камере: «Что это вы так по-домашнему устраиваетесь? Вы разве сюда надолго?» В его словах прозвучало одобрение, и он разъяснил мне, что остальные сокамерники часами толпятся с вещами у двери, ожидая, что их сейчас выпустят. Нет, я еще не был настолько умен, я тоже хотел домой, на Гранатный, к своим книжным полкам, в свою комнату, к жене и дочке. Я еще не знал, что этого дома – нашего дома – уже нет. Квартира опечатана. Но думать об этом было нельзя. Потом это стало для меня главным правилом: сегодня эта камера – твой дом, эти нары – твоя постель. И эта нечеловеческая жизнь – твоя жизнь. Ее надо

прожить, шаг за шагом, день за днем. Не стану утверждать, что это помогло мне выжить, но помогало – это точно. Только так можно было жить в лагере.

Хочу задать вам глупый вопрос – за что вас посадили?

За что? Этот вопрос предполагает конкретный ответ – за такое-то деяние, за такое-то преступление. Правильней спросить – почему? И легко ответить – потому что уже работала сталинская карательная машина. Но я понимаю ваш вопрос и отвечаю. Было несколько причин или поводов, по которым по логике того времени меня должны были арестовать. Существовали дела, которые специалисты с Лубянки называли «осколками» – дела родственников репрессированных, особенно если это были видные деятели. Я тоже принадлежал к числу таких «осколков». Моя первая жена Оксана была дочерью известного чекиста и партийного деятеля Глеба Ивановича Бокия и падчерицей одного из крупных деятелей партии и правительства Ивана Михайловича Москвина. К концу 37-го года уже были расстреляны Бокий, Москвин и его жена, мать Оксаны, Софья Александровна. Остались осколки – Оксана, ее старшая сестра Елена, я и моя маленькая дочь Наташа, которой тогда было чуть больше года.

Возможен был подход и с другой стороны – я работал в те годы редактором в издательстве «Молодая гвардия» ЦК комсомола, члены которого к тому времени уже почти все были репрессированы. Были расстреляны и два моих двоюродных брата: один был заместителем начальника МУРА, другой крупным военачальником.

Так что я был обречен на арест, страдали и более «безвинные», без всяких видимых причин.

В живых из всей нашей семьи остались двое – Наташка и я. Меня спасла смерть Сталина, а Наташку – ее собственная мама. У нее, двадцатидвухлетней, хватило сил в такой трудный, роковой момент спасти свою дочь: она

заявила, что не уйдет из дома, пока за ребенком не придет бабушка, что будет кричать и бить окна, если они этого не сделают. И почему-то сработало – наверное, они боялись ночных скандалов. Кто знает... Или судьба была хоть так милостива к моей дочери – избавила ее от участи сироты в тюремном приюте.

Расскажите, пожалуйста, как вы встретились с Наташей?

Мне трудно говорить об этом. Это моя боль. Когда меня арестовали, Наташке был 1 год и 3 месяца. Когда мы встретились снова, уже после моего окончательного освобождения, ей было 18. Она была взрослая, умная, нетерпимая. А мне не хватало ни мудрости, ни терпения, ни времени, я ошалел от свободы, хотел наверстать все упущенное, хотел все успеть, чего так долго был лишен... Я знаю, что был плохим отцом своей дочери. И вину эту унесу с собой. И боль за нее, и страх, что останется одна. Это единственный страх, который я испытываю, думая о смерти.

Какое самое драгоценное приобретение в вашей жизни?

Свобода. Это не пустое слово для меня. Так много вмещает оно – свободу жить, где хочешь, ездить, куда хочешь, общаться, с кем хочешь, говорить о том, что думаешь, писать о сокровенном, о главном и думать свободно, без оглядки на какие-то запреты, догмы, установки. Я думаю, что это и составляет счастье человека.

Вы можете без всяких оговорок сказать о себе: «Я – счастливый человек»?

Ну, разумеется, конечно. Я – счастливый человек.

ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ

Он встретил меня вопросом:

– Как вам нравится то, что от меня осталось?

Лев Эммануилович действительно похудел, побледнел, мне не понравились его глаза, но, главным образом, не понравился вопрос. Что-то защемило внутри, как три дня назад во время последнего нашего телефонного разговора. Тревога? Предчувствие?

Стараясь не показывать вида, как всегда шутиливо, отвечаю:

– Я женщина верная, вы мне всегда нравитесь. Вы такой красивый.

Он замахал руками, засмеялся и – заплакал. Такого не было никогда. Господи, не допусти!

– Старый человек не может быть красивым.

– Очень даже может, – упрямо настаиваю я. – Посмотрите на себя в зеркало.

– А правда, – вдруг сказал он не очень уверенно, с затаенной надеждой в голосе, не сказал даже, а будто спросил: – ведь не всегда старость уродует человека...

Я обняла его, и мы поцеловались как-то особенно нежно, словно после долгой разлуки. Или перед разлукой?

Я в самом деле больше двух недель не могла выбраться к нему – то одно, то другое. Суета. А он так вдруг изменился. И впервые не сам открыл мне дверь, а дочь Наташа. Но не лежал – еще бы не хватало, чтобы он встречал женщину лежа, а сидел в своем кресле. И, как всегда добродушно-ворчливо, поторопил меня:

– Скорее пробирайтесь на свое законное место. И приходите почаще. – И добавил с укором: – Между прочим, в XIX веке было принято навещать больных друзей.

– В этом смысле и наш, коварный, не хуже. Но я вообще-то не навещать, я – в гости. – И небрежно, как бы между делом, спрашиваю: – А чем это вы больны?

Задумался и тихо и грустно ответил:

– Старостью, деточка.

– Это не болезнь, – отмахнулась я, но все же не выдержала и спросила встревоженно: – Сердце болит?

И опять после некоторой паузы он тихо сказал:

– Оно не болит. Оно устало: слишком долго бьется.

Я не знаю, что на это ответить. Мой папа в 89 лет говорил то же самое. И то же самое бессилие, доводящее до отчаяния, душит меня – люблю, но ничем не могу помочь, жизнь готова отдать, но – не поможет, не спасет. Я это точно знаю – папу я не спасла. Господи, помоги... Ты – всемогущий...

– Лев Эммануилович, не берите на себя слишком много: оно бьется столько, сколько нужно. Не вам судить. А что говорят ненавистные эскулапы?

– Завтра ко мне приедет родственный нам профессор. И я задам ему только один вопрос.

Озноб пробежал по спине, я явственно услышала глухой, слабый папин голос: «Доктор, я скоро умру?»

Но нет – у Льва Эммануиловича в глазах появился лукавый блеск, – нет, он не о том...

– Мне недавно один бывший высокопоставленный чин подарил роскошную бутылку коньяка. Я хочу знать...

От радости забыв о почтении, перебиваю на полуслове:

– Вопрос ясен: пить или не пить? Ответ однозначный: настоящий мужчина, тем более старый еврей и зек в анамнезе, должен оставить после себя только пустые бутылки. Пить!

– Я тоже так думаю, а то как-то жалко: без меня на моих поминках разопьют этот коньяк, а я даже не буду знать, хорош ли он.

Постановили, что будем этот коньяк понемножечку попивать, – спешить некуда, но задача поставлена: бутылку следует опустошить.

* * *

Через несколько дней я снова навестила Льва Эммануиловича. Подарила ему свои рассказы о нем, он тут же прочитал, пока я пила кофе, прослезился (раньше такого не бывало) и сказал:

– Я не стою таких слов.

– Не вам судить.

Поцеловал мне руку и сказал:

– Я вас очень люблю.

– И я вас люблю.

Наташа не выдержала:

– Ну, прямо голубки, не нагладишься на вас.

Лев Эммануилович строго заметил:

– Я старый человек, мне все можно. Я пережил царя-батюшку, Льва Давидовича Троцкого, Ленина, я даже Сталина пережил... Теперь вот с Ельциным соревнуюсь. А, пусть их, надоело. Давайте я вам лучше стихи почитаю. А то все о смерти да о старости.

– Вот именно.

Взял томик Пастернака и прочитал «Рождественскую звезду». Раскрытую книгу держал на коленях, но текст знал почти наизусть. Хорошо читал. Устал, но дочитал до конца. И говорит, показывая на журнальный столик:

– Вот тут у меня Пастернак, тут – Чичибабин, а тут – мой дорогой Окуджава, они меня поддерживают. Особенно когда вы меня забываете.

– Я вас никогда не забываю. Просто суета заела, устала, хочу в Переделкино.

– И я хочу в Переделкино, – оживился Лев Эммануилович.

– Поедем вместе! – И спрашиваю Наташу: – Отпустишь со мной Разгона, доверяешь мне?

– Тебе, – говорит, – доверяю. А таких людей очень мало.

– Запомнили, – спрашиваю, – дочь вас мне доверяет.

– Запомнил, – говорит Лев Эммануилович.

– И я, – говорю, – запомнила.

Наташа заключает:

– И я.

Лев Эммануилович уточняет:

– Все решено. Только кому мы доверим Наташу?

– Возьмем с собой.

Рассмеялись от души, хоть каждый из нас знал, что в Переделкино вместе мы не поедем никогда. Что-то уже случилось непоправимое, неопознанное, не узнанное, лишь тревожным предчувствием вкрадшееся в душу.

Однако мечтать не вредно, и мы вспомнили о новой звезде в созвездии Овена, именем Разгона нареченной к его 90-летию. Сертификат на право владения небесным телом висит на стенке у изголовья, как проездной билет в открытый космос.

– А не слетать ли нам на вашу звезду, Лев Эммануилович, к чертовой матери, хоть на время? – задала я не слишком корректный вопрос.

Он не стал меня укорять, посмотрел задумчиво и сказал:

– Может быть, я когда-нибудь попаду туда, кто знает.

Может быть... Когда-нибудь... Почему-то от этих слов делается не по себе и хочется взять его за руку и не отпускать.

Заметила, что Лев Эммануилович устал, собралась уходить, и впервые он не проводил меня, не подал плащ, не стоял в дверях, пока я шла к лифту.

– Надеюсь, вы простите, что не провожаю вас сегодня?

– Только сегодня. В следующий раз не прощу.

Мы попрощались, поцеловались, но от двери, уже одетая, вернулась к нему, и мы снова обнялись, как-то по особенному.

И мне почудилось, что больше никогда...

Страшно было додумать эту мысль до конца.

Но мне впервые почудилось...

* * *

Больше на Малой Грузинской я его не видела.

Только в больнице на Яузской, в маленькой палате со всеми удобствами, где Лев Эммануилович провел три последних трудных месяца своей жизни. В Москве стояло нестерпимо жаркое лето, палата была залита солнцем, от которого не было спасения. Лишь в коридоре, куда он почти не выходил – сначала инфаркт, потом операция по вживлению сердечного стимулятора, потом инсульт, воспаление легких.

Последние три месяца были сплошным преодолением. Судьба снова испытывала его на прочность. Неужто мало было? Неужто он всей жизнью не доказал силу духа, мужество, стойкость? Неужто не заслужил право войти вместе с нами в XXI век?

Заслужил.

И нам рядом с ним было бы не так страшно. Ведь это он жил с постоянным предощущением, что завтра начнется новая эпоха. И был к этому готов всю жизнь и каждый день.

Он с грустью говорил о том, что не доживет до нового тысячелетия, хотя уже не годы, а считанные дни отделяют нас от этой черты.

– Хотелось бы дожить, – говорил он. – Но умереть в старости не стыдно, в конце концов, – это закон жизни: старики уходят. Я не боюсь смерти, мне грустно думать, что я уже ничего не могу изменить – ни в прошлом, ни в будущем.

Я не хотела, чтобы он уходил, я любила его и знала, что без него мне будет плохо, одним родным человеком станет меньше.

Я подолгу сидела возле его кровати в больничной палате, понимая, что больше всего он страдал от одиночества. Что может быть страшнее этого одиночества на самом краю, когда уже ничто не может удержать, спасти, вернуть. И никто. Когда человек уже понимает (знает? чувствует?), что уходит из жизни, что он уже немножко не здесь.

Нет, Лев Эммануилович об этом не говорил. Мы, как обычно, говорили обо всем на свете – обо всем. Я вслушивалась в каждое его слово, потому что понимала – каждая наша встреча может оказаться последней. Горький опыт моих потерь подсказывал мне – Лев Эммануилович уходит. Это неотвратимо.

Он держится из последних сил – читает по ночам стихи, все, что помнит, а помнит очень много: от рождения отличная память, помноженная на лагерьный навык чтения без книг, еще не покинули его. Он прочитал мне по памяти длинное, трудное нерифмованное стихотворение Михаила Кузмина о том, как лучше умереть: в своей постели.

Я радовалась за него – сам себе читает стихи, сам себе поет Окуджаву. Нет, это еще не конец.

А через две недели:

– Я не сплю по ночам, и ни одной мысли в голове.

– А стихи, а песни?

Посмотрел на меня виновато:

– Ни строчки, все куда-то ушло.

Ему было тяжело сидеть, тяжело лежать, он мерз в жару, просил накрыть его одеялом. И не хотел есть. Он маялся, ему было трудно проживать каждую минуту. Сердцу было тяжело даже со стимулятором, после инсульта нужно было учиться ходить. Лишь сила духа заставляла его садиться, вставать, делать лечебную гимнастику. Сила духа и любовь к дочери.

Он хотел домой. Умереть в своей постели? Или все-таки жить?

Жить, конечно, жить.

И он успел совершить еще один достойный претворения поступок: за шесть дней до смерти передал в библиотеку Бутырской тюрьмы часть своей домашней библиотеки. В Бутырку! В печальной памяти Бутырку, где прошел начальные классы тюремной школы, страшные, жестокие классы.

Он был удовлетворен этим событием. Будто точку поставил, будто дописал последнюю главу всего своего «непридуманного».

Рассказал мне об этом по телефону и добавил:

– Приходите скорее, я вам все подробно расскажу. Я жду вас.

Я не пришла из-за простуды, боялась его, ослабевшего от болезни, заразить. А он не дождался.

Если бы я знала, что он через несколько дней умрет, что больше его никогда не увижу, я навестила бы его, наплевав на насморк.

«Я жду вас» – последнее, что он мне сказал.

* * *

Я бываю на могиле Разгона довольно часто, он похоронен неподалеку от моих мамы и папы. Лев Эмма-

нуилович это знал и говорил: «Мне повезло – вы будете ко мне приходить».

Я прихожу, кладу цветы, говорю какие-то слова, прислушиваюсь к чему-то и иногда, мне кажется, сквозь кладбищенские лесные шорохи и отдаленный гул кольцевой дороги слышу его тихий голос:

– Новая эпоха начнется завтра... Все будет хорошо. Обязательно.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Книжные издания на иностранных языках,
1990–1998 гг.

1. Лев RAZGON. ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΝΟΗ ΣΕΙΣ (Непридуманное). ΜΙΚΡΗ ΣΕΙΠΑ, Greciya, 1990.
2. Lew RAZGON. LA UIE SANS LENDEMAINS (Непридуманное). HORAY, Franciya, 1991.
3. Lew RAZGON. Nichts die reine Wahrheit. Erinnerungen (Непридуманное). Verlag Volk & Welt Berlin, Germaniya, 1993.
4. Lew RAZGON. DOKUMENT. Beretning i novelleform (Непридуманное). F/S Falken Forlag, Awstriya, 1993.
5. Lev RAZGON. TRUE STORIES (Непридуманное). Ardis, Amerika, 1997.
6. Lev RAZGON. True Stories (Непридуманное). SOUVENIR PRESS, London, 1997.
7. Lev RAZGON. Con gli occhi di un bambino (Позавчера и сегодня). Giovanni Tranchidia Editore, Italiya, 1998.

СОДЕРЖАНИЕ

5	ОТ АВТОРА
27	СУМЕТЬ БЫ СОХРАНИТЬ
	ГЛАВА 1
31	ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА
34	Беседа «ПОКОЙНИКУ МИЛОСЕРДИЕ НИ К ЧЕМУ», 1996 г.
48	Из цикла бесед «НА СОКРОВЕННЫХ СКРИЖАЛЯХ ПАМЯТИ», 1994–1998 гг.
67	Беседа «КАТОРГА ИЛИ ЖИЗНЬ», 1998 г.
	ГЛАВА 2
75	И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЭПОХА
78	Беседа «МЕСТЬ ВСЕГДА НЕПРАВЕДНА», 1995 г.
84	Беседа «ИСТОРИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗЛОПАМЯТНОЙ», 1998 г.
93	Из цикла бесед «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ НЕПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРТА», 1995–1999 гг.
	ГЛАВА 3
113	НОСТАЛЬГИЯ ПО УХОДЯЩЕМУ
116	Беседа «В ЗАЩИТУ СЛОВА "ПАТРИОТ"», 1993 г.
120	Из цикла бесед «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА», 1994–1998 гг.
136	Беседа «РАЗМЫШЛЕНИЯ НЕНУМИЗМАТА», 1997 г.
145	Из цикла бесед «НЕ ГОРЯТ РУКОПИСИ...», 1994–1999 гг.

	ГЛАВА 4
169	ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ РАЗГОН
172	Даниил ДАНИН. ПЕРЕЖИТОЕ И ПОНЯТОЕ
176	Юлий КРЕЛИН. ОН ИЗБЫЛ СВОЮ МИССИЮ НА ЗЕМЛЕ
183	Борис ЖУТОВСКИЙ. ДУЭЛЬ. Записки секунданта
188	Анатолий ПРИСТАВКИН. ПЕСЕНКА О ЛЬВЕ РАЗГОНЕ
195	Александр ГОРОДНИЦКИЙ. ЕДИНСТВЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ УХОДЯЩЕГО СТОЛЕТИЯ
200	Лидия ЛИБЕДИНСКАЯ. РЫЦАРЬ-ПРАВЕДНИК
205	Кирилл КОВАЛЬДЖИ. ВЕК ЛЬВА РАЗГОНА

	ГЛАВА 5
211	ПОЗАВЧЕРА И СЕГОДНЯ
214	Беседа «С СИГНАЛЬНЫМ ЭКЗЕМПЛЯРОМ В РУКАХ», 1995 г.
221	Из книги «ПОЗАВЧЕРА И СЕГОДНЯ»
222	ОТЕЦ
228	МАТЬ
235	Из «“СЕМЕЙНЫХ” БЕСЕД»
244	ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ
252	Библиографическая справка

Полищук Р. Е.

С РАЗГОНОМ О РАЗГОНЕ: Беседы. Раздумья. Воспоминания. – Мн.: “МЕТ”, 2000. – 255 с.: ил.

ISBN 985-436-277-9.

В книгу вошли беседы автора с Львом Эммануиловичем Разгоном за последние 8 лет – о жизни общества, о судьбе человека, о прошлом и будущем, о еврействе и еврейской культуре, об Израиле, о путешествиях, о литературе, нравственности, о Москве, о городе детства – Горки в Белоруссии, о жестокости, милосердии и покаянии, о любви и о смерти.

Автора связывала с Львом Разгоном долгая дружба, поэтому и беседы, и воспоминания носят неформальный, доверительный характер.

В главу 4 включены воспоминания друзей Л. Разгона – Даниила Данина, Юлия Крелина, Анатолия Приставкина, Бориса Жутовского, Лидии Либединской, Александра Гордницкого, Кирилла Ковальджи.

УДК 882.09 + 929 Разгон
ББК 83.3 (2 Рос-Рус) 6



Литературно-художественное издание

Рада Ефимовна Полищук

С РАЗГОНОМ О РАЗГОНЕ

Беседы. Раздумья. Воспоминания

Редактор Виктория Полищук

Художественный редактор Борис Жutowский

Корректоры Нина Переведенцева, Вениамин Элькин

Компьютерная верстка Феликса Дектора

Технический редактор Таисия Казовская

Подписано в печать 16.10.2000. Формат 70х100^{1/32}. Гарнитура «Arial Суг». Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,32. Усл. изд. л. 8. Тираж 1645 экз. Заказ 1769.

Налоговая льгота — Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 007-98, ч.1, 22.11.20.300.

Издательство «МЕТ». Лицензия ЛВ № 55 от 01.10.97. 220029, г. Минск, ул. Киселева, 20. Контактный тел.: 213-42-07.

Отпечатано с диапозитивов заказчика на Минской фабрике цветной печати Госкомитета Республики Беларусь по печати. 220024, Минск, ул. Корженевского, 20.



